

**ВЕСТИ НИОТКУДА,  
ИЛИ  
ЭПОХА СПОКОЙСТВИЯ.**

*Перевод с английского  
Н. И. СОКОЛОВОЙ*

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

**Москва 1962**

*Редактор перевода*  
Д. ГОРФИНКЕЛЬ

*Вступительная статья*  
Ю. КАРГАЛИЦКОГО

*Комментарии*  
М. ГОРДЫШЕВСКОЙ

*Художник*  
С. ТОМИЛИН

## УТОПИЯ УИЛЬЯМА МОРРИСА

Когда Уильям Моррис умер, врача, наблюдавшего последние минуты больного, спросили о причине его смерти. «Он был Уильям Моррис,--ответил врач. И потом, помолчав, добавил:--Не может ведь один человек делать работу десяти». Входить в дальнейшие разъяснения ему не было нужды--имя Морриса еще при жизни стало легендой.

Моррис всю жизнь работал за десятерых и притом в самых разнообразных областях--работал не дилетантски, а высокопрофессионально. Сейчас невозможно написать серьезную книгу по истории английской общественной мысли, литературы, живописи, художественной критики, архитектуры, прикладного искусства, эстетики и книгоиздательского дела, не упомянув имени Морриса. Разносторонностью своих интересов он напоминал людей Возрождения. Да и обликом своим он тоже походил на них. Он обладал могучим здоровьем, огромной физической силой и при своем малом росте был так широкоплеч, что казался квадратным. Жители района, в котором он поселился на старости лет, поначалу принимали этого просто одетого человека, ежедневно вышагивающего твердой размеренной поступью несколько миль до места работы, за бывшего моряка. Приглядысь они к нему повнимательней, они, впрочем, изменили бы свое мнение. У него было сосредоточенное лицо ученого, а руки его казались реками искусного ремесленника--они ни на минуту не оставались в покое. Для Морриса действительно не существовало различия между физическим и умственным трудом. В каждое произведение рук своих,--а он и ткал ковры, и резал по дереву, я сам делал краски,--он вкладывал массу изобретательности и вкуса, выработанного внимательным изучением традиции. Его книги написаны человеком, знающим, что такое физический труд.

Люди, подобные Моррису, появляются не в любую эпоху. Они приходят тогда, когда история готовится совершить новый большой поворот. Их много было в эпохи Возрождения и Просвещения. Они приходили из разных классов общества, но всегда служили силам прогресса. Новые перспективы истории, новые задачи человечества всегда властно призывают людей выдающихся знаний, ума, совести, и в служении этому новому они черпают свое величие.

Уильям Моррис тоже стоял у истоков новой эпохи--эпохи социализма. Его история--один из многочисленных примеров того, как на протяжении последних семидесяти--восьмидесяти лет духовные искания буржуазных интеллигентов и вера в прогресс приводят лучших из них к осознанию правоты дела рабочего класса.

Подобный путь прошли после Морриса многие художники, писатели, общественные деятели. Уильям Моррис был одновременно писателем, художником, общественным деятелем. И пусть он нес на себе больший груз прошлого, чем люди, пришедшие после него, пусть он не был ни писателем, ни художником, ни политиком такого масштаба, как иные из них,--в его личной истории оказалась заложена история многих больших и честных людей. Если вспомнить, что Моррис прошел свой путь задолго до Великой Октябрьской социалистической революции, история его развития представляется еще значительней. Об иных писателях приятно говорить, что они обладали большим пророческим даром. Моррис, автор утопического романа «Вести ниоткуда», тоже затронул немало вопросов, важность которых многие поняли лишь несколько десятилетий спустя. Но главное, его можно назвать человеком, у которого была пророческая судьба.

\* \* \*

«Мне не хотелось бы покидать этот мир,--сказал Моррис незадолго перед смертью--Он ведь удивительно радушно встретил меня». Мир и впрямь с самого начала удивительно радушно принял Уильяма Морриса. Он с детства не знал и не боялся нужды (отец его был преуспевающим коммерсантом). Ранние годы его были безоблачными, не омраченными даже тупой школьной зубрежкой. Он очень рано научился читать и без труда постигал из книг школьную премудрость, а на досуге зачитывался романами или развезжал в игрушечных латах по лесу, примыкавшему к дому, на подаренном родителями пони, воображая себя рыцарем из романов Вальтера Скотта. К семи годам он одолел почти все произведения этого писателя. Особенно его

привлекали романы из рыцарских времен. Впрочем, один из современных персонажей Вальтера Скотта тоже пользовался его любовью--знаменитый вальтерскоттовский Антикварий. Маленький Моррис мечтал узнать старину не хуже его, и это знание далось ему очень легко--как-то само собой. Впоследствии Моррис стал крупнейшим в Англии экспертом по средневековым рукописям и большим знатоком искусства той эпохи.

О людях таких способностей, как Уильям Моррис, трудно бывает сказать, с какого момента началась их сознательная жизнь. В старике Моррисе всегда сохранялось что-то от юноши и ребенка, влюбленного в искусство Средних веков и склонного идеализировать весь уклад жизни того времени, а в маленьком Моррисе уже жил дух рыцарского служения высоким идеалам человечности, который определил впоследствии весь его путь. Моррис на склоне лет даже утверждал, что он вообще не проходил внутренней эволюции. Это, разумеется, не так. Юного Морриса, мечтавшего о тех временах, когда рыцари приходили на выручку жертвам злодеев, не спутаешь с Моррисом-социалистом, боровшимся за справедливый общественный строй. Но Моррис во всяком случае был прав, когда говорил, что, сколько себя помнит, всегда искал путь к установлению справедливости. Активные поиски этого пути начались для Морриса с поступления в университет. Ему в это время было девятнадцать лет. (Моррис родился в 1834 году и умер в 1896 году.)

Буржуазная Англия только что покончила с чартизмом, и ей предстояло еще два десятилетия сытого самодовольства. Этот ханжеский, пуританский, чопорно-бездушный период торжества буржуазности с ужасом вспоминали все люди искусства, которым пришлосьдохнуть спертого воздуха «викторианства»--периода царствования королевы Виктории. Верхушка рабочего класса, так называемая «рабочая аристократия», быстро обуржуазивалась. Основная же масса рабочих, не входившая в замкнутые корпоративные тред-юнионы, была забита, темна, разобщена и не чувствовала себя способной к борьбе. Буржуа--кругом одни буржуа со своим славословием прибыли, со своей верой в непогрешимость буржуазного морального кодекса и богоданность буржуазных порядков, со своими вкусами в литературе, искусстве, архитектуре...

Против подобных проявлений буржуазности считал себя призванным бороться молодой Уильям Моррис. Он задыхался в этом царстве безвкусицы. Ему претили вечные разговоры о «пользе» и выгоде. На первых порах студента-богослова Уильяма Морриса привлекло так называемое «оксфордское движение», инициатором которого еще в тридцатые годы был богослов Джон Генри Ньюмен. Пышная обрядность и «духовность» католицизма казались сторонникам этого течения способом освободиться от принципа эгоистического интереса, господствующего в буржуазном обществе. Одно время Моррис даже собирался пожертвовать все свои деньги на основание монастыря. Однако увлечение англо-католичеством было для Морриса недолгим. Не то что он понял реакционный смысл учения Ньюмена--просто на смену этому увлечению пришло новое. Как ни увлекало Морриса то или иное вероучение, он все же, чем дальше, тем больше, чувствовал себе человеком искусства. Его университетский друг Берн-Джонс уже решил стать художником. Моррис открыл в себе поэтический талант и увлекся историей архитектуры. Они с Берн-Джонсом мечтали теперь основать некое братство на средневековый манер и начать «крестовый поход» против общества. Этот «крестовый поход» мыслился юношами как борьба за чистоту религии и искусства. Одновременно Моррис увлекся социализмом--не научным социализмом, а наиболее ему импонировавшим «феодальным социализмом» Карлейля--очень популярного в те годы историка и публициста, умно и зло критиковавшего всю систему понятий английского буржуа, разоблачавшего буржуазную эксплуатацию, но вместе с тем призывавшего вернуться к средневековой организации общества. Однако и увлечение социальной стороной учения Карлейля миновало. Слишком неподходящее, слишком спокойное было время для того, чтобы унаследованные от бурных тридцатых--сороковых годов идеи угнездились глубоко в сознании юноши. Панацей от всех бед ему сейчас казалось искусство, способное обратить мысли человека к добуржуазному прошлому--к средневековью.

Медиевизм--возвращение к средневековью--имел в Англии XIX века немало сторонников. Ему отдал дань и молодой Дизраэли--впоследствии премьер-министр той самой буржуазной Англии, которую он проклинал в своих ранних речах и романах. Его положил в основу своих теорий и крупнейший искусствовед той поры Джон Рескин, который помог формированию демократических идеалов Морриса, опередившего потом своего учителя. Надежды аристократов вернуть себе утраченное после промышленного переворота положение и антибуржуазность демократической интеллигенции нередко вливались в те годы в единое русло медиевизма. Антибуржуазность молодого Морриса тоже влекла его к медиевизму.

Моррису не стоило труда найти кружок единомышленников, напоминавший братство защитников красоты и духовности, о котором он мечтал на университетской скамье. Подобный кружок существовал уже с 1848 года и назывался «Прерафаэлитское братство». Это было объединение молодых художников, положившее начало всем модернистским течениям в Европе. Как и следовало ожидать, этот союз на зыбкой почве медиевизма оказался нестойким и Братство впоследствии распалось. Одни его члены сделали благоприличную буржуазную карьеру в сфере искусства, другие стали декадентами, третьи пошли значительно дальше неопределенной антибуржуазности прерафаэлитов. Но первоначальное Прерафаэлитское братство казалось относительно единым, и вокруг творчества его членов не затихали страсти. Рескин горячо поддерживал прерафаэлитов, академики не прекращали своих нападок. Моррис тоже

решил выступить в защиту прерафаэлизма и с этой целью некоторое время издавал за свой счет небольшой «Оксфордский и кембриджский журнал». Потом он и сам вступил в Прерафаэлитское братство.

Здесь Моррис чувствовал себя в своей стихии Молодые художники, входившие в Прерафаэлитское братство, были немного мистики, немного богема. В свое время большинство членов кружка (все они были старше Морриса) увлекалось теми или иными радикальными течениями, однако довольно скоро от них отошло и посвятило себя созданию неакадемического (для прерафаэлитов это означало «небуржуазного») искусства и выработке собственного идеала красоты, перекликающегося со средневековьем, Моррис в своем духовном развитии проделал те же этапы, и теперь он поступил в своеобразное послушничество к главе этого кружка художнику и поэту Данте Габриэлю Россетти. Он мечтал рисовать, как Россетти, жить, как Россетти. Двадцативосьмилетний метр благосклонно принял новых учеников и поклонников--Берн-Джонса и Морриса. Скоро они стали друзьями. Увлечение Морриса эстетическими принципами Россетти простерлось до того, что в 1859 году он женился на его натурщице Джен Барден, в которой, по общему мнению членов кружка, воплотился прерафаэлитский идеал красоты.

Вернувшись из свадебного путешествия, Моррис совместно со своим другом архитектором Филиппом Уэббом построил себе в графстве Кент дом, которому дал название «Ред Хаус». Слово «ред» означает «красный», но речь в данном случае шла не о какой то революционной символике, а лишь о цвете необлицованных кирпичных стен. Моррис жил в эти годы единственно мечтой о красоте и разлитом в мире спокойствии. Эти свои мечты он выразил в большом цикле поэм, название одной из которых могло бы с успехом послужить и для всех остальных--«Земной рай». Общий объем этих поэтических произведений, над которыми Моррис работал до второй половины семидесятых годов, таков, что автора их никак нельзя заподозрить в том, что он и в жизни следовал своему идеалу спокойствия. В иные дни он создавал до семисот стихотворных строк. И все же поэзия не давала достаточного выхода деятельной натуре Морриса. В 1865 году он основал в содружестве с другими прерафаэлитами фирму по производству мебели и предметов внутреннего убранства домов, которая была призвана изменить вкусы публики и тем самым внедрить в мир красоту.

Первые два года фирма почти не имела клиентуры и Моррису приходилось довольствоваться украшением церквей. Однако, начиная с 1867 года, мебель, обои, драпировки, гобелены и другие предметы, выпускаемые фирмой «Моррис и компания», начали пользоваться большим спросом. Стиль, утвержденный Моррисом и его компаньонами, вошел в моду. Борьба Морриса за «небуржуазное» искусство принесла наконец долгожданные, но--увь!--оказавшиеся горькими плоды,--буржуа с восторгом раскупали изделия фирмы Морриса, оставаясь, разумеется, такими же буржуа. Остальным--не только рабочим, но и просто людям не очень богатым,--все эти предметы были не по карману. Моррис признавал только ручное производство, старался обеспечить своим рабочим высокие заработки и выплачивать высокий дивиденд непрактическим компаньонам-художникам.

Сколько людей искусства, начав с бунта против буржуазного общества, отходили потом, добившись признания и успеха, от идей своей юности! У Морриса путь был иной. Он с юных лет усвоил проповедуемый Рескином принцип единства Добра и Красоты, всегда оставался ему верен и крупнейший свой успех воспринял как величайшее свое поражение. Он внедрил, как ему казалось, в общество свое представление о красоте, но оно было по-прежнему далеко от добра. В справедливости самого принципа Моррис не усомнился. Но он понял, что этот принцип неосуществим в буржуазном обществе и начинать надо с другого--с изменения самой общественной системы.

Жизнь за стенами дома и мастерской Уильяма Морриса немало способствовала перемене его убеждений. В семидесятые годы кончился период промышленной монополии Англии. Страну один за другим начали потрясать экономические кризисы. То тут, то там возникали стачки. По улицам Лондона двинулись демонстрации безработных. В буржуазных кругах заговорили об опасности революции. За примерами далеко ходить не приходилось--в самом начале семидесятых годов английская буржуазия была насмерть напугана Парижской коммуной. Сколько ненависти по отношению к рабочему классу изливалось в эти годы в респектабельных клубах Лондона! Моррис не мог без отвращения слышать эти крики озверевших от страха собственников. Он сознавал справедливость требований рабочих, и единственное, что еще удерживало его в течение некоторого времени от того, чтобы стать на сторону рабочего класса, все громче теперь заявлявшего о своих правах,--это сомнение в возможности социализма. В справедливости его он не сомневался. Моррис принялся читать буржуазных политэкономов и пришел к выводу, что их критика социализма не убедительна и отнюдь не бескорыстна. Потом он обратился к «Капиталу» Маркса (не владея немецким языком, Моррис читал его по-французски) и, хотя не смог одолеть экономической части этого труда, очень внимательно изучил его историческую часть и во всем с ней согласился. С тех пор Моррис называл себя коммунистом.

Эта перемена убеждений не прошла безболезненно для Морриса. Каждый день на стол ложились газеты, полные ядовитых насмешек. Люди, прежде охотно предоставлявшие помещение для публичных выступлений известного поэта и теоретика искусства, давали теперь понять, что больше ему не следует прибегать к их любезности. Рядом оставались друзья юных лет, развивавшиеся все эти годы в другом направлении. Россетти, его бывший кумир, превращался в неврастеника-декадента, и социалисту Моррису не о чем больше было с ним говорить. Они сейчас не только думали по-разному, но и весь духовный склад у них был разный. И еще

рядом была Джен, сошедшая некогда молчаливо и безучастно в мир с его собственных и Россетти полотен. Там, на картинах, она казалась живой и близкой. В жизни--безмерно далекой. Ей было о чем помолчать с Россетти и не о чем говорить с Моррисом и его новыми друзьями. Чем дальше шел он своей дорогой социалиста, тем дальше она становилась от него и тем ближе к Россетти. Тот поселился у Морриса, и хозяин дома, чтобы с ним не встречаться, уезжал иной раз из Лондона на целый год... Сейчас трудно выяснить все перипетии домашней трагедии Морриса. Часть его писем не может быть вскрыта до 1989 года. Ясно одно--эта трагедия была частью цены, которую он заплатил за перемену своих убеждений.

А переменились не только его убеждения--переменился весь образ его жизни. Моррис не был человеком кабинетного склада. Он желал принять практическое участие в борьбе за социализм. Когда в самом начале 1883 года была создана Социал-демократическая федерация, Моррис сразу же стал ее членом.

Социалистические организации в Англии были в те годы еще очень слабы. Рабочее движение находилось под влиянием левого крыла либеральной партии, и попытки ораторов-социалистов выступать на рабочих митингах против либералов, связанных с тред-юнионами, обычно встречались свистом и улюлюканьем. В лондонской и немногочисленных провинциальных организациях Социал-демократической федерации насчитывалось всего лишь несколько сот членов. К тому же Федерация была очень пестра по своему составу. В нее входили оуэнисты--сторонники одной из теорий утопического социализма,--многочисленные анархисты и близкие к ним «крайние левые» (в Федерации их называли «леваками»). Людей, знакомых с работами Маркса и Энгельса, среди членов Федерации было совсем немного. К тому же политический авантюрист Гайндман, претендовавший на то, чтобы считаться основоположником научного социализма в Англии, захватил руководство Социал-демократической федерацией и стремился свести на нет влияние Энгельса.

Придя в Социал-демократическую федерацию, Моррис сразу же сделался там очень видной фигурой. Его имя, известное к тому времени повсюду, прибавляло веса этой только что созданной и еще не успевшей окрепнуть организации. Моррис финансировал в основном журнал, издаваемый Федерацией--«Джастис»,--и активно сотрудничал в нем. Он изо дня в день выступал с лекциями о социализме, сам продавал на улицах «Джастис», участвовал в митингах и демонстрациях. Однако положение Морриса в Федерации было достаточно сложным. Он оказался где-то посередине между оппортунистом Гайндманом и «леваками». С последними Моррис был согласен в неприятии любых форм парламентской борьбы, но во многом и разошелся. Гайндман все больше отталкивал его своим шовинизмом, оппортунизмом и безответственными истерическими призывами к немедленной революции. Моррис, подобно большинству членов Федерации, тоже в то время верил, что в Англии со дня на день должна начаться революция, но он прекрасно понимал, что Социал-демократическая федерация, почти не связанная с рабочим движением, не сыграет в ней сколько-нибудь заметной роли, если не будет заниматься главным своим делом--путем пропаганды неустанно воспитывать социалистов.

Моррис очень боялся раскола единственной социал-демократической организации в Англии, но все же с каждым месяцем становилось яснее, что раскол неизбежен. Последние месяцы речь уже шла только о том, Гайндман или Моррис первым выйдет из Федерации. 27 декабря 1884 года Моррис, Элеонора Маркс, Эдвард Эвелинг, а вслед за ними еще около двухсот членов, в значительной части анархистов и «леваков», вышло из Федерации и 30 декабря организовало собственную Социалистическую лигу. Полтора года спустя Лига насчитывала более тысячи членов и имела несколько отделений в провинции. Она издавала собственный журнал «Коммунист», в котором Энгельс, желая оказать моральную поддержку Моррису, Элеоноре Маркс и Эвелингу, напечатал одну свою статью и две небольшие заметки.

Впрочем, Социалистической лиге тоже не суждено было вырасти в подлинную марксистскую организацию в Англии. Ее раздирали беспрестанные противоречия. Моррису пришлось выдержать продолжительную борьбу с анархистами, захватившими в конце концов «Коммунист». Моррис, этот, по характеристике Энгельса, «социалист чувства», не сумел противопоставить анархистам достаточно разработанной и последовательной системы взглядов. В нескольких пунктах он сам сближался с анархо-коммунизмом, и тем труднее ему было бороться с ними по другим вопросам теории и тактики. Уже в середине 1886 года Моррис, по словам Энгельса, был целиком в руках у анархистов. Его самостоятельная роль в организации была фактически сведена на нет. К концу восьмидесятых годов Моррис отходит от активного участия в делах Лиги. Он теперь снова посвящает большую часть времени литературной работе и участию в различных обществах любителей старины. В дополнение к старым мастерским своей фирмы Моррис основывает еще издательство, печатавшее книги старинным способом. В нем он начинает публиковать свои прозаические произведения. В этих повестях и романах сказочного характера не могли, конечно, не отразиться в какой-то мере мысли и чувства, которыми Моррис жил последние годы, однако они были близки произведениям, опубликованным им в период увлечения прерафаэлизмом. Впрочем, все это не составляло самой ценной части деятельности Морриса в последний период его жизни. Если Моррис и чувствовал в эти годы горечь своей неудачи в роли политического деятеля--неудачи, которую предчувствовал Энгельс, назвав Морриса еще в период формирования Лиги, в числе других ее руководителей, человеком честным, но таким непрактичным, что подобных днем с огнем не сыщешь,--то с тем большей страстностью он отдается теперь созданию литературных произведений, в которых формулирует свои социалистические

идеалы. В 1886 году Моррис заканчивает поэму «Пилигримы надежды», в которой рассказывается о трех англичанах, представителях разных слоев общества, принявших участие в защите Парижской коммуны. В 1886--1887 годах в «Коммонуил» сразу после «Пилигримов надежды» публикуется его повесть «Сон про Джона Болла», рассказывающая об одном из эпизодов восстания Уота Тайлера (XIV в). Моррис продолжает выступать как социалистический публицист и оратор. В этот период и появилась лучшая книга Морриса «Вести ниоткуда».

Книга «Вести ниоткуда» принадлежит к числу тех, о которых принято говорить, что автор готовился к ним всю жизнь. В этом романе весь Моррис с его удивительной трезвостью мысли и не меньшей наивностью, с его достижениями и его ошибками--весь Моррис, и Моррис-поэт, и Моррис-социалист, и Моррис-художник, и даже просто Моррис-человек с его привычками, манерами, образом мышления. Подобная книга не обязательно бывает задумана задолго до момента написания. Она может появиться в результате непредвиденного случая. Именно так, на первый взгляд случайно, из журнальной полемики, родилась главная книга Морриса.

В 1888 году в США вышла в свет утопия мало до той поры известного романиста Эдуарда Беллами «Взгляд назад». Успех книги был разительный. Ее раскупали так, что типографии не успевали удовлетворять спрос на нее. За короткий срок было издано около миллиона экземпляров. Год спустя книга была опубликована в Англии и тоже имела большой успех.

Герой этой книги, молодой состоятельный человек по имени Джулиан и по фамилии Уэст, страдая бессонницей, построил под своим домом подземную спальню, куда не проникали внешние шумы. Однажды зимней ночью случился пожар, пожарные машины залили подземелье водой и Джулиан пролежал там замороженный больше ста лет. Только на заре двадцать первого века его нашел и разморозил доктор Лит. Вернувшись к жизни, Джулиан Уэст некоторое время познакомился, при любезном содействии доктора Лита, с новым Бостоном, а потом и сам нашел свое место среди людей двадцать первого века. Он женился на дочери любезного доктора, оказавшейся внучкой его бывшей невесты, и сделался профессором истории.

Этот несложный сюжет был использован Беллами для пропаганды социализма и критики буржуазного общества. Нет особой нужды говорить о том, что книга Беллами была в обоих отношениях весьма наивна. Беллами был одним из многочисленных как в Америке, так и в Англии той поры «домарксовых социалистов, живших после Маркса», по определению Герберта Уэллса, и его книга поражает современного читателя своей провинциальностью. Удивляться этому не приходится. Людей, знакомых с основными трудами Маркса и Энгельса, было тогда в Америке еще меньше, чем в Англии. Но именно в силу этого книга Беллами нашла сотни тысяч восхищенных читателей, а ее автора многие готовы были объявить новым пророком.

Книга Беллами была на редкость прекрасноразумна. Согласно изложенной в ней теории, капитализм в результате концентрации капитала должен сам перерасти в свою противоположность. Все тресты сольются в один, и его равноправными акционерами сделаются под воздействием общественного мнения все граждане государства. Это произойдет очень гладко, без каких-либо заметных недоразумений, и если люди двадцать первого века, вспоминая минувшую эпоху, и будут кого-нибудь порицать, то прежде всего «красных», которые своими бунтарскими речами так напугали публику, что чуть не помешали совершиться реформе.

Описание жизни людей двадцать первого века поражает уже не столько прекрасноразумием, сколько мечанством. Все живут так же, как жил средний обеспеченный бостонский интеллигент конца XIX века, только бытовых удобств стало больше, а страхов меньше. В описании бытовых удобств Беллами поистине неистощим. Тут и пневматическое устройство, при помощи которого товары подаются прямо со склада в дом, тут и радио, дающее возможность не ходить в церковь, а слушать проповеди дома, тут и общественная столовая, в которой каждая семья имеет отдельную комнату, и т. п.

Описанные Беллами формы организации общества, впрочем, заставляли забыть о мечанском уюте. Дело в том, что в двадцать первом веке, по мнению Беллами, сохранится немало тяжелых и неприятных форм труда, и государство вынуждено будет ввести трудовую повинность. Из числа офицеров и генералов «промышленной армии» будет формироваться правительство. В этот вот мир принуждения и мечанской скуки настойчиво приглашал Беллами своего читателя.

Моррис был не из тех, кто мог согласиться за ним последовать. В июне 1889 года он выступил со статьей в «Коммонуил», в которой подверг обстоятельному разбору и резкой критике «Взгляд назад». Эта книга опасна в двух отношениях, говорил Уильям Моррис. Если принять на веру пророчество Беллами, то найдется немало людей, которые, прочитав его книгу, отвернутся от социализма,--в подобном социалистическом государстве не очень хочется жить. Другие же, согласившись с Беллами, ложно употребят свои усилия, ибо общество подобного типа не стоит строить. Социализм, заявляет Моррис, тогда только будет настоящим, а не по одному названию, социализмом, когда он обеспечит неизмеримо большую меру свободы, нежели буржуазное общество. Беллами кажется, что это невозможно, потому что в обществе, где исчез страх голода, человека иначе не заставишь трудиться. Однако Беллами не понимает, насколько изменятся условия жизни и сам человек при социализме. «Беллами напрасно хлопочет, отыскивая какой-нибудь стимул для труда, чтобы заменить страх голода... так как,--и вряд ли нужно это слишком часто повторять,--истинным стимулом для полезного труда должна быть радость, исходящая из самого труда»,--писал Моррис. В этом пункте построения Беллами столкнулись с одним из основных положений всего мировоззрения Морриса. Ответить

Беллами журнальной статьей Моррису было мало. Его собственная мечта о грядущем требовала более полного выражения. И, кроме того, сколько бы ни сделал Моррис как полемист, он прежде всего был художник. Так появился роман «Вести ниоткуда». Он начал печататься в «Коммунист» в январе 1890 года, восемь месяцев спустя после того, как Моррис прочитал «Взгляд назад». В 1891 году роман вышел отдельным изданием.

«Вести ниоткуда»--очень необычная утопия. Она написана не столько социальным мыслителем, сколько поэтом. В ней нет той сухости и дидактичности, которые отличают многие прославленные произведения этого жанра, она согрета душевным теплом и лирическим чувством. Да и сам лирический герой лишь в незначительной степени отвечает условному типу «путешественника» прежних утопий. Конечно, и он задает множество наивных вопросов, ответы на которые адресованы не столько ему, сколько читателю. Но герой не только рассказывает по пунктам о новом мире. Он передает свое восприятие этого мира.

Читатель, знакомый с немалым числом фантастических романов, вышедших после Морриса, может упрекнуть его книгу в известной элементарности и доле искусственности. Но «Вести ниоткуда» нельзя судить по меркам, прилагаемым к повести или роману,--это скорее поэма в прозе. Может быть, никто после Коббета и романтиков «Озерной школы» не мог с такой любовью и пониманием описать английский пейзаж, и никто от Морриса до Гарди--тоже поэта и тоже архитектора--не сумел так говорить об архитектуре. Рассказ о путешествии вверх по Темзе, занимающий добрую половину книги, принадлежит к высоким образцам прозы, ставшей поэзией, или поэзии, забывшей на минуту, что ей положено выражать себя в строгих размерах. Никаких приключений, почти никаких происшествий--одна лодка нагнала другую, гребец пересел с лодки на лодку, заночевали в маленьком домике у реки,--а читатель не утомляется ни чередованием пейзажей, ни обрывками речей под мерные взмахи весел, потому что в обеих лодках сидят живые люди. Сказано о них немного, а все-таки это живые люди. Среди них и главный герой--двойник автора книги.

Мы узнаем его по большому числу примет. Ему, как и Моррису в момент написания книги, пятьдесят шесть лет. Он тоже любитель гребли и утреннего купания. Он живет в том самом доме на берегу Темзы, где жил автор, и, подобно ему, сам готовит себе обед. Система воспитания, принятая в утопическом мире, который он посетил, мало чем отличается от воспоминаний детства Морриса. У героя те же пристрастия и вкусы, что и у автора книги, и, подобно ему, он смотрит на окружающий мир глазами человека, влюбленного в землю, в труд, в поэзию. Он находит ее повсюду--в живописных изгибах реки, архитектурных формах, загорелых телах косарей. В нем, как и в Моррисе, живет смутная тоска по тому, что уже не удастся увидеть в действительности. Он чувствует, что все это лишь сон и что в реальной жизни ему не дано наслаждаться красотами природы, не испорченными безвкусицей нуворишей, пользоваться всеми благами, не испытывая чувства вины перед теми, кому достались на долю одни лишь страдания и горе, узнать любовь живой, мягкой и понимающей женщины. Все это--сон.

Поэтичность утопии Морриса оправдала даже этот избитый прием фантастов. Вещие сны особенно часто стали являться фантастам с тех пор, как были исчерпаны другие способы перенестись в неведомый мир. То, что былой «путешественник» видел воочию в какой-то впервые им открытой земле, герой романа восьмидесятых годов чаще всего видел во сне. У Морриса этот прием органичен потому, что его сон увиден поэтом и поэтом рассказан. Яркость красок, определенность форм--и вместе с тем какая-то зыбкость картины, которая в любой миг может рассеяться, оставив после себя лишь воспоминание и щемящее чувство грусти,--таким является мир только поэтам. Это мир их мечты. Моррис рассказал о своем идеале--не выдуманном, а выношенном и выстраданном, ставшем частью его самого.

Этот идеал--преобразованный человек, очистившийся от скверны буржуазности и переделавший своими руками мир вокруг себя. В мире утопии Морриса исчезли такие внешние стимулы для труда, как страх голода или внешнее принуждение. Остался один великий стимул--человеческая потребность в творчестве. Она ничем не стеснена, и потому труд людей, избравших дело себе по сердцу, приносит удивительные плоды. Каждое творение человеческих рук--произведение искусства. Жители нового мира способны понимать искусство, потому что они сами--его творцы. Они наконец-то почувствовали землю своей и вновь обрели утраченную людьми XIX века способность наслаждаться природой, замечать краски заката, чувствовать бесчисленные ароматы земли. Вся Англия превратилась в цветущий сад. Исчезли прокопченные грязные города. Исчезли заборы, огораживавшие помещичьи парки. Англия во всей возродившейся своей красоте принадлежит каждому, в ней живущему.

У тех, кто живет в обстановке бесклассового общества, где нет ни нужды, ни угнетения, ни соперничества из-за власти и денег, и взгляды на жизнь и все мироощущение иные, нежели у людей конца XIX века. Даже внешне они не похожи на своих предшественников--они здоровее, одухотвореннее, на их лицах всегда играет улыбка. Человек сделался человеку другом и братом. Женщины стали настоящими подругами мужчин. Исчезли буржуазные формы брака, порожденные корыстью, и люди следуют своим естественным влечениям, даже не представляя себе, что их отношения должны быть кем-то санкционированы. Моррис очень подробно касается этой стороны жизни в своей утопии--и это не случайно.

Для английского интеллигента конца XIX века вопрос о формах брака стоял очень остро. Слишком опошлены были отношения между мужчиной и женщиной соблюдением внешнего благоприличия и развратом исподтишка. Слишком глубоко проникла в семью корысть. Слишком фальшивой сделалась приторная викторианская сентиментальность. Душевно здоровый человек, бунтовавший против буржуазного общества, неизбежно возмущался и против буржуазной семьи--верного сколка этого общества. В восьмидесятые--девяностые годы люди передовых взглядов все чаще отказывались официально оформлять

свои семейные отношения. Именно атмосферой передовых интеллигентских кружков восьмидесятых--девяностых годов и объясняется то, что Моррис в своей книге решительно порывает с традицией утопической литературы, которая, как правило, подчиняла отношения полов очень строгой регламентации, вплоть до запрещения личного чувства, как это сделал Кампанелла в своем «Городе солнца».

Утопия Морриса заселена живыми людьми, а не бездушными манекенами Беллами. Здесь случаются свои недоразумения, здесь иногда происходят и настоящие трагедии. Но все это перекрывается расцветом человеческой личности. Морриса упрекали в том, что с переменой социального строя у него даже погода в Англии переменилась. За все время путешествия по Темзе и поездок по преображенному Лондону ни одна туча не застлала неба, сиявшего голубизной. Что ж, мир коммунистического общества и в самом деле залит для Морриса солнцем. «Многие,--справедливо отметил в своей книге «Английская утопия» английский историк-марксист А. Л. Мортон,--писали утопии, в которые можно было поверить. Но Моррису удалось изобразить такое утопическое государство, в котором хочется жить».

Значительно слабее, однако, Моррис в тех местах своей книги, где он сталкивается с проблемами политэкономии.

В период написания «Вестей ниоткуда» Моррис не сомневался ни в одном освоенном им положении учения Маркса. Однако он считал, что многие стороны этого учения приложимы лишь к переходному периоду от капитализма к коммунизму. Что же касается коммунистического общества, то в нем, по мнению Морриса, восторжествует его собственный медиевистский анархо-коммунистический идеал. Эта борьба между марксистскими и анархо-коммунистическими сторонами мировоззрения Морриса очень заметна в романе.

В тех частях романа, где речь идет о том, «как совершилась перемена», Моррис умный марксист. Сейчас нет нужды отмечать все те места, где Моррис показал себя замечательным прозорливцем,--его правоту подтвердила история. В девяностые годы Моррис уже не верил, что в Англии немедленно совершится пролетарская революция. Он теперь много думал о том, сколько трудностей стоит на ее пути, и сознание этого сделало его рассказ о революции настолько правдивым, что иной раз начинает казаться, будто читаешь о событиях, уже совершившихся. Что же касается отдельных частных, то они, если учесть тогдашний уровень социалистического движения в Англии, не могут не вызвать восхищения силой авторского предвидения. Моррис говорит и о том, что буржуазное общество, склонявшееся к закату, вынуждено будет принять определенные формы государственного капитализма, и о том, что именно в огне гражданской войны рабочий класс выкует кадры, необходимые для руководства обществом, и о том, что сопротивление революции со стороны правящих классов примет формы, которые мы сейчас назвали бы фашистскими.

В основной части своей утопии Моррис тоже многим обязан марксизму. Именно знакомство с марксизмом помогло Моррису занять такую верную позицию в полемике с Беллами. Критикуя Беллами за то, что он по-мещански видит конечную цель социализма в уюте и сытости, Моррис вместе с тем далек от спартанства многих представителей утопического социализма. Напротив, Моррис считает, что в коммунистическом обществе личное потребление вообще не будет никак ограничено. Люди коммунистического общества, согласно Моррису, будут жить по потребности. Правда, они не станут бессмысленно расточать общественные ресурсы, но совсем не потому, что их жадности будет положен предел при помощи своеобразных «заборных книжек», которыми предусмотрительно снабдил своих персонажей Беллами, а потому, что в обществе, из которого исчезла нужда, исчезнет и жадность. Конечная цель социализма состоит не в улажении буржуазного индивида, а в расцвете человеческой личности, очищенной от скверны буржуазности. Для Морриса научный социализм не был только экономической доктриной. Моррис справедливо видел в нем законного наследника гуманизма прежних веков.

По-марксистски решает на первых порах Моррис и вопрос о том, каким образом общество придет к изобилию материальных благ, а каждый отдельный человек получит достаточно времени для того, чтобы свободно следовать своим склонностям. Разумеется, Моррис и здесь значительно прозорливее Беллами. С каким увлечением ни выдумывал Беллами всякие приспособления для улучшения быта, он не сумел понять, что через сто лет произойдут качественные перемены в самой промышленности. Система промышленного производства остается в социалистическом Бостоне XXI века примерно такой же, какой она была в 1888 году. Моррис же в первую очередь указывает, что за сто лет были открыты новые научные принципы, неизмеримо повысившие производительность труда в промышленности. Человек теперь получает значительно больше продуктов, употребляя для этого значительно меньше усилий. Если в Утопии Морриса нет нужды в «промышленной армии», то этим она обязана прогрессу науки.

Однако, по мере того как Моррис отдаляется от переходной эпохи, он все большую дань отдает собственным теориям, унаследованным от периода прерафаэлизма. Верный своим медиевистским симпатиям, Моррис заявляет, что ручной труд в коммунистическом обществе постепенно вытеснит машинное производство. Своеобразно трактует Моррис и марксистский тезис об отмирании государства. Моррис считает, что с отмиранием государства как аппарата насилия исчезнет и централизованное руководство экономикой, развернутый товарообмен и т. д. Эти два отступления от марксизма, как легко

понять, порождают и другие противоречия в утопии Морриса. Он оказывается не способен обосновать верные свои положения и постепенно многие из них словно бы забывает.

Сначала Моррис отводит ручному труду подчиненное место. Он для Морриса лишь одна из форм самовыражения человека, освободившегося от фабричного рабства и получившего много свободного времени. Ручной труд так же заполняет досуг одних людей, как писательство--других, занятия историей--третьих и т. д. Правда, для Морриса ручной труд самая предпочтительная форма самовыражения личности. В предмете, изготовленном руками ремесленника, по Моррису, наиболее полно выражается индивидуальность человека, его создавшего. В этом предмете воплощаются его навык, его мастерство, его представление о прекрасном. Он как бы навсегда сохраняет теплоту его рук. Однако все это до некоторых пор еще не служит для Морриса поводом противопоставить ремесленное производство машинному. Писатель помнит, что именно усовершенствованная машина освободила человека.

Но очень скоро Моррис делает следующий шаг. Выясняется, что с какого-то времени люди стали все меньше пользоваться помощью машин. Теперь ткуют ручным способом, строят такими же методами, как в Средние века, сами себе обжигают горшки и куют косы. Собственно говоря, все предметы потребления изготавливают ремесленники. Машины оставлены лишь для особо тяжелых работ. Ручной труд делается у Морриса экономической основой общества.

После этого для Морриса вполне естественным оказывается приход к анархо-коммунистическому идеалу федерации небольших независимых общин. Свободным ремесленникам, каждый из которых в основном обеспечивает себя и своих соседей всем необходимым, не приходится, разумеется, заботиться о том, чтобы вся страна была подчинена единому экономическому руководству. Не нужны им и развитая система сообщений, и современные средства связи. Обмениваться научным и техническим опытом героям романа Морриса тоже, как легко догадаться, не нужно.

Моррис не намеревался отступать ни от одной из верных своих установок, которые неизмеримо подняли его книгу над уровнем буржуазных утопий, но всякий раз, когда он позволял себе пренебречь законами экономики ради своих пристрастий, он лишал свою книгу доказательности и сам себе начинал противоречить. Ведь общество, построенное на ручном труде, должно оказаться совсем не таким, каким желал его видеть Моррис.

Моррис справедливо говорил, что коммунистическое общество принесет людям изобилие материальных благ. Но ручной труд малопроизводителен. Для того чтобы убедиться в этом, Моррису не требовалось читать труды по политэкономии или изучать статистические таблицы. Его собственное предприятие, в котором господствовал принцип ручного труда, могло оставаться рентабельным лишь при условии исключительно высоких цен на большинство изделий. И Моррис не может отделаться от мысли, что изображенное им общество будет далеко от изобилия материальных благ. Поэтому Моррису приходится так часто подчеркивать, что потребности людей в его утопии невелики.

Моррис считает целью коммунизма расцвет человеческой личности. Однако вместе с исчезновением развитых экономических связей, средств сообщения и т. п. должен исчезнуть и развитый духовный обмен между людьми. Так, собственно говоря, и случается в мире Утопии Морриса. Книжки здесь издаются лишь в очень небольшом количестве экземпляров. Интересы утопийцев весьма ограничены, знания их невелики. Большинство из них даже не представляет себе, какие страны расположены за морем. Утопийцы живут в обстановке добродетельной патриархальности. Впрочем, согласно логике самого Морриса, эта патриархальная жизнь вряд ли на самом деле может быть так уж добродетельна. Ведь Моррис пишет, что человеческий эгоизм утихает, когда человек живет общими интересами. Но условия патриархальной жизни отнюдь не способствуют развитию общечеловеческих интересов.

Моррис очень умно показывает, что большинство общественных и личных конфликтов исчезнет после установления коммунистического строя. Однако в обществе, им нарисованном, трудно ждать осуществления этой надежды.

Труд становится подлинным творчеством лишь тогда, когда люди вкладывают в него много изобретательности. Моррис это прекрасно понимает, и он отнюдь не ждет, что творческое отношение к труду выразится лишь в поисках самых красивых форм для изготавливаемых предметов. Он предвидит, что люди будут стараться упростить самый процесс производства. Но почему, в таком случае, общество предпочтет заново проходить путь от средневековых ремесел к машинам, вместо того чтобы попросту использовать машины, доставшиеся в наследство от предыдущей эпохи? И если в обществе Морриса творчеству в этом отношении положен известный предел, то не возникнет ли внутри общины конфликт между теми, кто предпочитает работать по старинке, и теми, кто «своим умом» заново открывает уже открытое?

И еще один конфликт неизбежно должен возникнуть в Утопии Морриса--конфликт между патриархальной общиной и теми, кто к ней не принадлежит--людьми науки.

Согласно Моррису, их немало в утопической Англии. Здесь никто не запрещает заниматься наукой, как никто не запрещает писать романы для узкого круга людей. Однако вряд ли слои, захваченные идеей научного прогресса, согласятся долго оставаться на роли чудаков, терпимых обществом. Между ними и теми, кого подчинил себе дух обывательщины, неизбежно возникнет конфликт, который решит судьбу общества.

«Эпохой спокойствия» назвал Моррис свой золотой век. Но если даже поверить, что спокойствие воцарилось в утопической Англии на пять дней, которые пробыл там герой книги, оно должно сменяться бурными событиями тотчас же по его отбытии. Да и сам Моррис не слишком верит в устойчивость нарисованного им порядка вещей. Не раз и не два в речах героев проскальзывает опасение что эта «эпоха спокойствия» воцарилась ненадолго. Они, очевидно, правы.

Эстетические взгляды Уильяма Морриса, как они изложены в «Вестях ниоткуда», очень тесно связаны с его социальными теориями и несут на себе отпечаток тех же противоречий.

Заслуга Морриса состояла в том, что он в своей книге свел искусство с небес на землю и поднял труд до искусства. В мире его утопии искусство перестало быть чем-то обособленным от жизни--оно сделалось частью ее. Для Морриса всякий предмет, в который вложен творческий импульс раскрепощенной личности,--произведение искусства. Самая красивая вещь для него это та, которая проста по форме и наиболее полно отвечает своему назначению. Вопросы эстетики тесно связаны у Морриса с каждодневной человеческой практикой, в том числе и с вопросами производства. Моррис иногда слишком прямолинейно проводил эти свои мысли, но в основе своей они были верны. Следуя этим правильным положениям, Моррис порой далеко выходил за рамки своего личного вкуса, тяготевшего к средневековью. В одной из своих статей он пишет, например, что фабрика должна быть красива своей собственной красотой, а не повторять формы средневековых построек. Однако медиевизм наложил заметный отпечаток на эстетические теории Морриса и заметно их сузил.

Моррис всю жизнь боролся с помпезностью и эпигонством в современном ему искусстве. В противоположность украшательству он провозгласил принцип функциональности. Каждая деталь вещи должна быть, по Моррису, оправдана техническим ее назначением--функциональна. Но этот принцип Моррис использовал не для утверждения новых форм, а для того, чтобы возродить старое искусство, сделав его нужным для современности. Достаточно бросить взгляд на знаменитый «Ред Хаус», построенный Моррисом и Филиппом Уэббом в средневековом стиле, чтобы понять, как далека функциональность этого здания от наших теперешних представлений о новой архитектуре. Понятие функциональности исчерпывалось для Морриса приспособлением старых эстетических форм к современным условиям жизни. Нетрудно понять, что жизнь, непрерывно создающая новые представления о красоте, далеко обогнала Морриса. Новая технология и материалы диктовали новые формы вещей. Люди постепенно «обживали» эти новые формы, научались видеть в них красоту, отнюдь не заимствованную из прежних эпох.

Нет нужды перечислять по пунктам, в чем еще жизнь подтвердила правоту Морриса, в чем его опровергла. «Вести ниоткуда»--не из тех утопий, которые к этому располагают. Роман Морриса написан крупными мазками, и от автора его трудно ждать детального изложения всех аспектов жизни в мире будущего. Но у романа Морриса есть огромное преимущество перед немалым числом утопий, авторы которых обладали способностью предсказывать конкретные формы будущего. Моррис предсказал главное. Он заявил, что счастье человечества связано с коммунизмом, и провозгласил идеалы, достижимые для всего человечества только в условиях этого строя. Его идеал душевно здорового, живущего интересами общества человека, его идеал земли--цветущего сада, и его идеал абсолютной свободы от принуждения остаются идеалами нашего общества. Это и делает Уильяма Морриса одним из писателей, завершающих своим творчеством историю утопической литературы. Утопический жанр изживает себя, воплощаясь в действительность.

*Ю. Кагарлицкий*

**Вести ниоткуда,**

**или**

**Эпоха спокойствия**

## *Глава I* **ДИСКУССИЯ И СОН**

Как-то раз вечером в Лиге (рассказывает один из моих друзей) зашел горячий спор о том, что произойдет после мировой революции. Спор этот превратился в изложение взглядов присутствующих на будущее вполне сложившегося нового общества.

Наш друг говорит, что, принимая во внимание предмет обсуждения, дискуссия прошла миролюбиво. Присутствующие, привыкшие к общественным собраниям и прениям после лекций, если и не прислушивались к чужим мнениям--чего едва ли можно было от них ожидать,--то во всяком случае не стремились говорить все зараз, как это принято у людей благовоспитанного общества, когда разговор касается интересующего их вопроса.

Собралось всего шесть человек, следовательно были представлены шесть фракций одной партии. Из шести человек четверо придерживались крайних, но весьма различных анархических взглядов. Представитель одной из фракций, человек хорошо знакомый моему другу, в начале дискуссии сидел молчаливо, но в конце концов был вовлечен в дебаты и в заключение раскричался, обозвав всех остальных дураками, что вызвало бурную реакцию. Когда шум постепенно стих, сменившись смутным гулом, упомянутый оратор весьма дружелюбно попрощался с остальными участниками собрания и направился к себе домой в западное предместье, пользуясь способом передвижения, навязанным нам цивилизацией и уже вошедшим в привычку.

Сидя, как в паровой бане, в вагоне подземной железной дороги, вместе с недовольным, торопящимся людом, и страдая от тесноты и духоты, он в то же время перебирал в памяти все те отличные и убедительные доводы, которые, хотя и были у него на языке, но почему-то остались невысказанными в пылу недавнего спора. Подобным сетованиям он предавался часто, но они недолго его тяготили. После краткого недовольства собой по поводу потери самообладания во время дискуссии (что случалось с ним тоже довольно часто) он углубился в размышления о самом предмете дискуссии, продолжая чувствовать себя расстроенным и неудовлетворенным.

--Если б я мог увидеть хоть один день той эпохи! Хоть один день!--бормотал он.

Тем временем поезд остановился у станции, в пяти минутах ходьбы от его дома, расположенного на берегу Темзы, чуть выше безобразного висячего моста. Выйдя со станции, наш путник, все еще расстроенный и неудовлетворенный, повторял одни и те же слова: «Если б я мог это увидеть, если бы я мог!..» Но не успел он сделать несколько шагов к реке, как его огорчение исчезло (так продолжал рассказ наш общий знакомый).

Была чудесная ночь, какие выпадают ранней зимой. Холодный воздух действовал освежающе после жаркой комнаты и скверной атмосферы вагона. Ветер, который только что подул с северо-запада, очистил небо от туч, и лишь одно-два легких облачка быстро скользили в вышине. Молодой месяц поднимался по небосклону, и когда путник заметил его серп, словно запутавшийся в ветвях старого вяза, он едва узнал жалкое лондонское предместье, где сейчас находился, и ему почудилось, что вокруг него очаровательное селение, гораздо красивее до сих пор знакомых ему пригородных мест.

Спустившись к воде, он на минуту остановился, любуясь через низкий парапет озаренной лунным светом рекой, которая в этот час прилива, поблескивая и переливаясь, текла в сторону Чизикского островка.

Что же касается уродливого моста ниже по реке, то путник не видел его и разве только на одно мгновение вспомнил о нем (по словам нашего друга), когда его поразило отсутствие длинного ряда огней вдоль реки.

И вот он уже у своего дома, отпер своим ключом дверь, вошел и едва закрыл ее за собой, как улетучилось всякое воспоминание о блестящей логике и прозорливости, так украшавших недавнюю дискуссию. От самой дискуссии не осталось и следа,--пожалуй, лишь смутная надежда, что наступят наконец дни радости, дни мира, отдыха, чистоты человеческих отношений и улыбчивой доброжелательности!

В таком настроении он бросился на кровать и, по своему обыкновению, минуты через две уже спал. Но вскоре (против своего обыкновения) совершенно проснулся, как это иногда бывает с людьми, отличающимися здоровым сном. В подобном состоянии все наши умственные способности неестественно обостряются, а в то же время на поверхность сознания всплывают все когда-либо пережитые унижения, все жизненные утраты и требуют внимания к ним нашего обострившегося ума.

Так этот человек лежал (говорит наш друг) до тех пор, пока к нему не вернулось хорошее настроение. Воспоминания о сделанных им глупостях начали забавлять его. А все те затруднения, которые он так ясно видел перед собой, начали складываться для него в занимательную историю.

Он слышал, как пробило час, потом--два, потом--три. И тут он опять погрузился в сон. Наш друг говорит, что от этого сна он пробудился еще раз и тогда пережил такие удивительные приключения, что о них необходимо поведать нашим товарищам, да и широкой публике вообще, и сделать это следует мне. Но он находит, что лучше мне вести повествование от первого лица, как если бы все это произошло со мной самим. Это будет легче для меня и более естественно, ибо мне лучше, чем кому-либо, известны чувства и желания того товарища, о котором здесь идет речь.

## *Глава II* **УТРЕННЕЕ КУПАНИЕ**

Итак, я проснулся и увидел, что во сне скинул с себя одеяло. И не удивительно: было жарко и солнце ярко светило.

Я спрыгнул с кровати, умылся и поспешил одеться, но все--в туманном и полудремотном состоянии. Мне мерещилось, что я спал долго-долго и не в силах был сбросить с себя тяжкое бремя сна. Я скорее угадывал, чем видел, что нахожусь у себя в комнате.

Когда я оделся, мне стало так жарко, что я поспешил выйти. На улице я прежде всего почувствовал большое облегчение, потому что меня обвевал приятный свежий ветерок. Но когда я собрался с мыслями, это первое впечатление сменилось безмерным удивлением, потому что, когда я вчера ложился спать, была зима, а теперь, судя по виду деревьев на берегу реки, стояло лето и было великолепное, яркое утро, как примерно в начале июня. Однако Темза осталась все та же и сверкала на солнце в час прилива, как и вчера, когда я любовался игрой света на ней при луне.

Я все еще не мог отделаться от ощущения некоторой подавленности, и, где бы я сейчас ни находился, я едва ли вполне сознавал, что меня окружает. Не удивительно поэтому, что меня что-то смущало, несмотря на обычный вид Темзы. Я чувствовал легкое головокружение и недомогание. Вспомнив, что можно нанять лодку, чтобы выкупаться посреди реки, я решил это сделать. «Кажется, очень рано,--рассуждал я,--но я наверное найду лодку при купальне Биффина». Однако я не дошел до этой купальни и даже не повернул налево, чтобы направиться к ней, потому что увидел пристань прямо против себя, у самого моего дома, как раз на том месте, где устроил себе небольшую пристань мой сосед. Впрочем, эта новая ничуть не походила на прежнюю. Я спустился к ней и тут заметил, что в одной из причаленных лодок лежит человек. Лодка его была крепким на вид суденышком, явно предназначенным для купальщиков. Человек кивнул мне и поздоровался, будто ждал меня. Без дальнейших объяснений, я спрыгнул к нему в лодку, и он преспокойно стал грести, а я--готовиться к купанью.

Пока мы плыли, я взглянул на воду и не мог удержаться, чтобы не сказать.

--Какая сегодня прозрачная вода!

--Разве?--возразил он.--Я этого не заметил. Вы знаете, прилив всегда немного мутит воду.

--Гм,--усомнился я.--Мне случилось видеть очень мутную воду даже при слабом приливе.

На это он промолчал, но, видимо, был удивлен. И когда он остановил лодку, гребя только, чтобы удерживать ее против приливного течения, я разделся и без лишних слов бросился в воду. Вынырнув, я повернулся против прилива и, естественно, искал глазами мост. Но то, что я увидел, так поразило меня, что я перестал работать руками, захлебнулся и опять ушел в воду. Вынырнув снова, я поплыл прямо к лодке. Мне необходимо было задать моему лодочнику несколько вопросов, настолько необычен был вид реки. Правда, глаза мои были залиты водой, но к этому времени я совершенно избавился от сонливого и дурманного состояния и снова мог отчетливо мыслить.

Пока я поднимался по сброшенной мне лодочником лесенке, а он, протянув руку, помогал мне влезть в лодку, нас стремительно понесло по направлению к Чизику, но лодочник быстро подхватил весла, повернул лодку обратно и сказал:

--Недолго купались, сосед! Может быть, вода сегодня кажется вам холодной после путешествия? Высадить вас здесь на берег, или вы желаете прокатиться до завтрака в Пэтни?

Его речь так мало походила на то, что я ожидал услышать от хэммерсмитского лодочника, что я вытаращил на него глаза.

--Пожалуйста,--ответил я,--немного задержите лодку здесь, я хотел бы хорошенько оглядеться.

--Извольте,--ответил он.--Здесь не менее красиво, чем у Барн Элмс; поутру везде хорошо. Мне нравится, что вы рано встали; еще нет и пяти часов.

Если меня удивил вид берегов, то не менее удивил и вид лодочника, особенно теперь, когда я смотрел на него с ясной головой и ясными глазами.

Это был красивый молодой человек, с особенно приятным и приветливым выражением глаз; выражением, совершенно новым для меня тогда, хотя я потом скоро к нему привык. Волосы у него были темные, на лице--золотистый загар. Он был хорошо сложен, силен и, по-видимому, привык к физическим упражнениям. В его внешности не было ничего грубого, и он был очень опрятен. Его одежда весьма отличалась от современной и скорее годилась для картины из жизни четырнадцатого века. Костюм был простого покроя, но из добротной синей ткани и без единого пятнышка. Я увидел на юноше коричневый кожаный пояс и обратил внимание на пряжку из вороненой стали, прекрасной чеканной работы. Одним словом, предо мной был на редкость изящный и мужественный молодой джентльмен, который, как я решил, только шутки ради разыгрывал роль лодочника.

Я считал себя обязанным завести с ним разговор и потому указал ему на Сэррейский берег, где виден был ряд легких дощатых помостов, спускавшихся в воду. На верхнем конце каждого помоста был установлен ворот.

--На что, собственно, это нужно здесь? Если бы мы были на Тее, я бы сказал, что это для вытаскивания сетей с лососем. А здесь?

--Именно для этого,--ответил он, улыбаясь.--Где водится лосось, там должны быть и сети, на Темзе или на Тее, не все ли равно? Конечно, они не всегда в работе. Мы не желаем есть лососину ежедневно.

Я хотел было сказать: «Да Темза ли это?»--но смолчал и обратил свои изумленные глаза на восток, чтобы снова взглянуть на мост, а затем на берега лондонской реки.

И действительно, было чему подивиться! Хотя мост по-прежнему перепоясывал реку, а по берегам ее стояли дома, но как все переменялось с прошлой ночи! Мыловаренный завод с его изрыгающими дым трубами исчез. Исчез и машиностроительный завод. Исчез свинцовоплавильный завод. Западный ветер не доносил трескучих звуков клепки и ударов тяжелых молотов с котельного завода Торникрофта. А мост! Мне, может быть, снился такой мост, но никогда не видел я подобного, разве только на раскрашенных рисунках старинных рукописей. Даже Понте-Веккьо во Флоренции не сравнился бы с ним. Он состоял из мощных каменных арок, столь же изящных, как и прочных, и достаточно высоких, чтобы свободно пропускать под собой обычные речные суда. Вдоль перил тянулись причудливые и нарядные маленькие павильоны и киоски, украшенные цветными и позолоченными флюгерами и шпилями. Камень арок уже немного выветрился, но на нем не было никаких признаков жирной сажи, которую я привык видеть на всех постройках Лондона старше одного года. Одним словом, мост показался мне чудом!

Лодочник заметил мой растерянный, недоумевающий взгляд и, как бы отвечая на мои мысли, сказал:

--Да, это отличный мост! Даже мосты верховья, которые гораздо меньше, не превосходят его по легкости, а мосты низовья--по величественности.

--Сколько же лет этому мосту?--машинально спросил я.

--Он не очень стар,--ответил лодочник,--его построили или по крайней мере открыли в две тысячи третьем году. До тех пор здесь стоял простой деревянный.

Услышав эту дату, я онемел, словно кто-то повернул ключ в замке, подвешенном к моим губам. Я понял, что случилось что-то необъяснимое и если я начну говорить, то не выберусь из путаницы коварных вопросов и уклончивых ответов. Итак, я попробовал скрыть удивление и смотреть с равнодушным видом на берега, которые мог видеть до моста и немного дальше--до бывшего мыловаренного завода. По обоим берегам тянулся ряд очень красивых домов, низких, небольших, немного отодвинутых от реки. В большинстве они были построены из кирпича и крыты черепицей. Дома прежде всего казались уютными и как будто жили, участвуя, если можно так выразиться, в жизни своих обитателей. Перед ними тянулись сады, спускавшиеся к самой воде. Пышные цветы посылали бурлящей реке волны упоительного летнего благоухания. За домами высились огромные деревья, по большей части--платаны. Глядя по течению реки, я увидел в направлении Пэтни изгиб ее, похожий на озеро с лесистыми берегами,--так густы были там деревья.

--Хорошо, что не застроили Барн Элмс!--сказал я как бы про себя и тотчас же покраснел за свою глупость, когда слова уже сорвались с языка.

Мой спутник взглянул на меня с усмешкой, значение которой, мне казалось, я понял. Чтобы скрыть смущение, я проговорил:

--Пожалуйста, высадите меня на берег: мне пора завтракать.

Молодой человек кивнул мне, сильным взмахом весел повернул лодку, и через минуту мы уже были у пристани. Он выпрыгнул из лодки, и я последовал за ним. Меня не удивило, что он как будто ждал неизбежного маленького диалога, который следует за оказанием услуги согражданину.

--Сколько?--спросил я, сунув руку в жилетный карман и испытывая при этом чувство большой неловкости от того, что, может быть, предлагаю деньги не простому лодочнику, а джентльмену.

Он посмотрел на меня в недоумении.

--Сколько?--повторил он.--Я не совсем понимаю, о чем вы спрашиваете? Вы говорите о приливе? Если так, то вода скоро пойдет на убыль.

Я покраснел и произнес, запинаясь:

--Пожалуйста, не поймите меня превратно, если я спрошу вас,--отнюдь не желая вас обидеть,--сколько я вам должен? Я, видите ли, иностранец и не знаю ваших обычаев, а также денег.

С этими словами я вынул из кармана пригоршню монет, как это делают иностранцы в чужой стране, и обнаружил, что серебро окислилось и цветом напоминало закопченную железную печку.

У лодочника все еще был удивленный вид, но он нисколько не обиделся и посмотрел на монеты не без любопытства.

«В конце концов он все-таки лодочник,--подумал я,--и размышляет, сколько с меня можно взять. Он такой славный малый, что мне не жаль немного переплатить ему. А, кстати, почему бы мне не нанять его на день или на два в проводники, раз он такой смысленный?»

--Мне кажется, я понял, что вы хотите сказать,--задумчиво проговорил мой новый приятель.--Вы считаете, что я оказал вам услугу, и вам хочется дать мне за это нечто, что я в свою очередь дал бы товарищу, если бы он сделал что-нибудь для меня. Я слышал о таких вещах, но простите меня, если я скажу, что это представляется нам очень сложным и неудобным обычаем, который нам чужд. Видите ли, перевозить людей и катать их по реке--это мое прямое дело, которое я исполняю решительно для всех, и брать за это подарки было бы очень странно. Кроме того, если один человек подарит мне что-нибудь, потом другой, третий и так далее, я, право,--не сочтите это за грубость,--не буду знать, куда мне девать все эти доказательства дружбы.

И он рассмеялся так громко и весело, словно мысль о плате за труд была просто смешной шуткой. Признаюсь, я начал опасаться, что человек этот--сумасшедший, несмотря на свой вполне нормальный вид. И я был в душе рад, что хорошо плаваю, так как мы оба стояли близко к глубокому месту с быстрым течением. Однако он продолжал вовсе не как сумасшедший:

--Что касается ваших монет, они любопытны, но не очень старые: кажется, все они времен королевы Виктории. Отдайте их в какой-нибудь более бедный музей. В нашем музее довольно таких монет, не считая значительного числа более ранних. Многие из них очень красивы. Что же касается монет девятнадцатого века, то они удивительно безобразны. У нас есть монета Эдуарда Третьего: король плывет на корабле, а кругом по борту маленькие леопарды и лилии очень тонкой работы! Надо вам сказать,--прибавил он с оттенком гордости,--я увлекаюсь работой по золоту и другим драгоценным металлам: эта пряжка--одна из моих первых работ.

Боюсь, что я взглянул на него с некоторой робостью, все еще сомневаясь в его здоровом уме.

--Я вижу, что надоел вам, и прошу меня извинить,--приветливым голосом закончил он.--По многим признакам я могу заключить, что вы чужеземец и прибыли из страны, очень не похожей на Англию. Ясно, что не следует утомлять вас сразу всякими сведениями о нашей стране, лучше будет, если вы станете воспринимать их мало-помалу. Я сочту за большую любезность, если вы позволите мне служить вам проводником по нашему, новому для вас, миру, потому что я первый, на кого вы здесь натолкнулись. Но, конечно, это будет просто снисхождением с вашей стороны, так как всякий другой мог бы быть вашим проводником и даже гораздо лучшим, чем я.

В нем действительно не было ни малейшего признака пребывания в «желтом доме». Кроме того, подумал я, если окажется, что он все-таки сумасшедший, я сумею легко отделаться от него. Поэтому я сказал:

--Ваше предложение весьма любезно, но мне трудно принять его, разве что вы...--я хотел сказать--позволите мне платить вам, как подобает, но, опасаясь снова пробудить в нем сумасшедшего, я изменил начатую фразу:--Я боюсь оторвать вас от вашей работы или развлечений.

--Об этом не беспокойтесь,--сказал он.--Это даже позволит мне оказать услугу одному из моих друзей, который хотел бы заняться моим делом. Он ткач из Йоркшира и переутомлен своим ремеслом и математикой. То и другое, как вы понимаете, работа в закрытом помещении. А так как мы с ним большие друзья, он обратился ко мне, чтобы я помог ему найти работу на свежем воздухе. Если вы считаете, что я вам гожусь, пожалуйста, возьмите меня в проводники. Правда,--добавил он,--я обещал друзьям, живущим выше по Темзе, приехать к ним на уборку сена, но до этого времени еще целая неделя, а кроме того, вы можете поехать туда вместе со мной. Вы узнаете очень милых людей и сможете сделать заметки о жизни в Оксфордшире. Вы ничего лучшего не придумаете, если хотите ознакомиться с нашей страной.

Я счел себя обязанным поблагодарить его, как бы там ни было в дальнейшем.

--Итак, решено!--воскликнул он.--Я вызову моего друга, он живет в том же Доме для гостей, что и вы, и, может быть, еще не встал, как следовало бы в такое прекрасное утро.

С этими словами он снял с пояса маленький серебряный рог и протрубил два или три раза, громко и мелодично. Вскоре из дома на месте моего бывшего жилища (о нем после) вышел другой молодой человек и неторопливой походкой приблизился к нам. Он оказался не таким здоровым на вид и не так хорошо сложенным, как мой лодочник. Рыжеватый, неширокий в плечах, несколько бледный, он радостным и приветливым выражением лица походил, однако, на своего друга. Когда он, улыбаясь, подошел к нам, я с удовольствием убедился, что могу отбросить теорию «желтого дома», ибо двое сумасшедших в присутствии здорового человека никогда не ведут себя так, как вели себя они.

Костюм у второго молодого человека был такого же покроя, как у первого, но немного наряднее: куртка светло-зеленого цвета с вышитой на груди золотой веточкой, пояс серебряный, филигранной работы. Он очень вежливо поздоровался со мной и, приветствуя друга, весело сказал:

--Что ж, Дик, как будет сегодня? Приниматься мне за свою работу или за твою? Мне ночью снилось, что мы с тобой отправились вверх по реке удить рыбу.

--Ладно, Боб,--сказал лодочник,--садись на мое

место, а если тебе покажется слишком трудно, то Джордж Брайтлинг тоже ищет работы. Он живет близехонько от тебя. Видишь ли, вот иностранец, который хочет доставить мне удовольствие, взяв меня сегодня в проводники по нашим окрестностям, и ты, конечно, понимаешь, что я не могу упустить такой случай! Так вот, бери теперь же мою лодку. Тебе и без того не пришлось бы долго ждать ее, так как через несколько дней я еду на уборку сена.

Новый знакомый потер руки от удовольствия и, обращаясь ко мне, дружелюбно сказал:

--Сосед, вам и другу моему Дику повезло. Вы приятно проведете время, как, впрочем, и я. А сейчас лучше всего, если вы оба пойдете со мною в дом и хорошенько поедите, а то среди ваших развлечений вы ведь забудете пообедать. Вероятно, вы прибыли в Дом для гостей прошлой ночью, когда я уже лег спать?

Я кивнул в знак согласия, не желая вступать в долгие объяснения, которые ни к чему бы не привели и в правдивости которых я и сам уже готов был усомниться. Итак, мы втроем направились к дверям Дома.

### *Глава III* **ЗАВТРАК В ДОМЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ**

Я немного замешкался и отстал от других, чтобы взглянуть на дом, который, как я уже говорил, находился на месте моего старого жилища. Крылья этого длинного здания были повернуты от дороги. Окна фасада доходили почти до земли и были украшены каменной резьбой. Стены были выложены из красного кирпича, крыша--свинцовая. Высоко над окнами тянулся фигурный фриз из терракоты, мастерски выполненный с такой силой и изяществом рисунка, каких я никогда не видел в современных мне строениях. Но изображенные сюжеты были мне хорошо знакомы.

Все это было лишь беглым впечатлением. Переступив порог дома, мы очутились в вестибюле с мраморным мозаичным полом. В стене, противоположной фасаду, окон не было, вместо них--ряд арок, которые вели в комнаты. Сквозь одну из комнат я мельком увидел находившийся позади сад. Стены над арками были расписаны фресками на такие же сюжеты, что и фриз передней стены.

Все кругом было построено основательно, прочно и очень красиво. Хотя помещение оказалось не особенно обширным, пожалуй, чуть меньше Кросби Холла, все же оно порождало ощущение пространства, высоты, свободы, какое хорошая архитектура всегда вызывает у человека со вкусом. По этому красивому помещению--очевидно, холлу, бесшумно скользили три молодые женщины. Так как это были первые представительницы прекрасного пола, которых я увидел в то знаменательное утро, я со вниманием присмотрелся к ним и пришел к заключению, что они не менее прекрасны, чем сады, архитектура и представители мужского пола. Что же касается их одежды (на которую я, конечно, обратил внимание), то я бы сказал, что они были скромно задрапированы, а не превращены в узлы с тряпками и не обиты ими точно кресла, как большинство женщин нашего времени. Короче говоря, их одежда представляла собой нечто среднее между античным нарядом и простой одеждой в стиле четырнадцатого века. Но в фасонах отнюдь не чувствовалось подражания. Ткани были легкие, светлые и подходили ко времени года.

На этих женщин приятно было смотреть, так приветливо и радостно улыбались их лица, так статны и стройны были их фигуры. От них веяло здоровьем и силой. Все они были по меньшей мере привлекательны, а одна даже очень красива, с правильными и тонкими чертами лица. Они весело подошли к нам и без

малейшего жеманства и робости пожали мне руку, словно я был их другом, вернувшимся после долгого путешествия. Впрочем, я не мог не заметить, что они с недоумением покосились на мою одежду. На мне был тот же костюм, в котором я накануне ходил на дискуссию, и, правду сказать, я никогда не отличался франтовством.

Роберт, ткач, сказал им несколько слов, и они принялись хлопотать, а потом за руки повели нас к столу в самом уютном углу холла, где уже был накрыт для нас завтрак. Когда мы сели, одна из них убежала и вскоре вернулась с большим букетом роз, очень отличавшихся по цвету и величине от тех, что прежде цвели в Хэммерсмите; они напоминали скорее розы из старого деревенского сада. Удалившись снова, молодая девушка принесла изящную хрустальную вазу, в которой поставила цветы посреди стола. Другая девушка принесла большой капустный лист, на котором красовалась свежая земляника. Подавая ее на стол, девушка сказала:

--Я собиралась пойти за ней еще рано утром, но, увидев иностранца, садившегося в вашу лодку, Дик, совсем забыла о ягодах. Поэтому мне досталось лишь то, что не успели склевать птицы. Все-таки вот вам немного самой лучшей земляники в Хэммерсмите.

Роберт дружески погладил ее по голове, и мы принялись завтракать. Еда была простая, но отлично приготовлена и изящно сервирована. Особенно хорош был хлеб разных сортов, от темного, сладковатого на вкус крестьянского каравая, который мне особенно понравился, до хрустящих трубочек из белейшей муки, какие я едал когда-то в Турине.

Не успел я положить в рот первый кусок, как глаза мои остановились на золотой надписи, выгравированной на стеной доске, которую в зале оксфордского колледжа мы называли бы мемориальной. Знакомое название в этой надписи заставило меня прочесть ее. Надпись гласила:

«Гости и соседи, на месте этого дома когда-то находилась читальня хэммерсмитских социалистов. Почтите их память стаканом вина! Май 1962 года».

Трудно передать, что я почувствовал, прочтя эти слова. Думаю, что волнение отразилось у меня на лице, ибо мои приятели с удивлением посмотрели на меня, и на некоторое время между нами водворилось молчание.

Наконец ткач, не отличавшийся такими хорошими манерами, как лодочник, довольно бесцеремонно обратился ко мне:

--Мы не знаем, как вас называть. Не будет ли не деликатным спросить, как ваше имя?

--Гм, у меня самого,--сказал я,--есть на этот счет

некоторые сомнения. Зовите меня «гость». Допустим, что это и есть моя фамилия. Прибавьте к ней, если хотите, имя Уильям!

Дик ласково кивнул мне, но по лицу ткача пробежала тень беспокойства.

--Я надеюсь, вы не обидитесь на мои расспросы,--произнес он.--Но не скажете ли, откуда вы приехали? Меня такие вещи очень интересуют. Ведь я литератор.

Дик явно толкал его под столом, но он нисколько не смущался и нетерпеливо ждал моего ответа. Что касается меня, то я чуть было не выпалил, что я «из Хэммерсмита», но, сообразив, к какой путанице перекрестных вопросов это приведет, стал сочинять более или менее правдоподобную версию.

--Видите ли,--сказал я,--я так долго не был в Европе, что все здесь кажется мне странным. Но я родился и воспитывался близ Эппингского леса, точнее в Уолтемстоу и Вудфорде.

--Прелестное место,--вмешался Дик,--очень живописное, ведь деревья там успели уже подрасти с тех пор, как в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году дома были снесены. Дорогой сосед,--продолжал неугомонный ткач.--Если вы знали лес уже давно, не можете ли вы мне сказать, правда ли, будто в девятнадцатом веке деревья подстригали?

Этот вопрос задел меня за живое,--археология и естественная история были моей слабой стрункой,--и я попался в ловушку, забыв, где я и с кем разговариваю.

Итак, я стал рассказывать, а одна из девушек, самая миловидная, которая занималась тем, что разбрасывала по полу веточки лаванды и других душистых трав, подошла ближе послушать и, став за мной, положила мне на плечо свою руку, держа в ней растение, которое я называл мелиссой. Его сильный, сладкий аромат напомнил мне дни моего детства, наш огород в Вудфорде и большие синие сливы, которые зрели у стены за грядкой манника. Всякий поймет, какие чувства пробудили во мне эти воспоминания.

--Когда я был мальчиком,--начал я,--и еще долгое время спустя, весь лес, за исключением той его части, что около Высоких буков, и той, что около охотничьего домика королевы Елизаветы, состоял преимущественно из подстриженных грабов и кустов остролиста. Когда же около двадцати пяти лет назад он перешел к лондонскому муниципалитету, уход за ним, лежавший на обязанности местной общины, прекратился, и лес был предоставлен самому себе. Я не видал этой местности вот уже много лет. Впрочем,

один раз мы, члены Лиги, отправились в увеселительную экскурсию к Высоким букам. Меня поразило, как все здесь было застроено, как все переменялось. А недавно мы слышали, что там хотят разбить парк. Но вы говорите, что застройка прекращена и лес снова окреп. Это для меня очень радостная весть. Только, знаете ли...

Тут я вдруг вспомнил названную Диком дату и запнулся в смущении. Любознательный ткач не заметил моего замешательства и, словно сознавая, что нарушает правила хорошего тона, поспешил спросить:

--Но скажите, сколько же вам лет?

Дик и хорошенькая девушка расхохотались, как бы стараясь оправдать этот вопрос эксцентричностью Роберта.

--Перестань, Боб,--все еще смеясь, сказал Дик.--Не годится так допрашивать гостя. От великого учения ты поглупел. Ты напоминаешь мне радикально мыслящих сапожников в нелепых старых романах, которые, по словам авторов, готовы были уничтожить всякую учтивость, признавая только утилитарное образование. Я начинаю думать, что ты так забил себе голову математикой и так зарылся в идиотские старые книги по политической экономии--ха-ха!--что совсем забыл, как надо себя вести. Тебе и вправду пора взяться за какой-нибудь физический труд на свежем воздухе, чтобы ветер сдул паутину с твоих мозгов!

Ткач только добродушно рассмеялся в ответ, а девушка подошла к нему, потрепала его по щеке и сказала со смехом:

--Бедный малый, таким уж он родился!

Я был немного озадачен, но тоже рассмеялся--отчасти за компанию, отчасти потому, что их спокойная веселость и добродушие доставляли мне большое удовольствие. И, прежде чем Роберт успел придумать слова извинения, я сказал:

--Соседи (я перенял у них это слово), я ни сколько не возражаю против ваших вопросов, когда я в состоянии ответить на них. Расспрашивайте меня сколько угодно, это мне только приятно. Если хотите, я расскажу вам все, что знаю об Эппингском лесе со времен моего детства. А что до моего возраста, то я ведь не хорошенькая женщина, так почему бы мне не сказать вам, что мне почти пятьдесят шесть лет.

Несмотря на недавнюю проповедь о хороших манерах, ткач не мог удержаться от возгласа «вот так так!». Остальных его непосредственность так насмешила, что веселая улыбка заиграла на всех лицах, хотя, вежливости ради, они старались удержаться от смеха, между тем как я поглядывал то на одного, то на другого с некоторым замешательством и наконец спросил:

--Скажите мне, в чем дело? Я хочу знать. Пожалуйста, смейтесь, но скажите!

Воспользовавшись приглашением, они рассмеялись, и я счел за лучшее к ним присоединиться. Наконец хорошенькая девушка ласково сказала:

--Что поделаешь, он грубоват, бедняга! Но я могу объяснить вам, что кажется ему странным: вы выглядите гораздо старше своих лет. В этом, конечно, нет ничего удивительного, раз вы, по вашим словам, так много путешествовали, и притом в нецивилизованных странах. Говорят--и в справедливости этого можно не сомневаться,--что человек быстро стареет, если он окружен людьми, которым живется плохо. Говорят также, что юг Англии благоприятствует сохранению молодости. Как вы думаете, сколько лет мне?--прибавила она, слегка покраснев.

--Что же,--сказал я,--говорят, женщине столько лет, на сколько она выглядит. Не желая обидеть вас или польстить, я дал бы вам лет двадцать.

Она весело рассмеялась и сказала:

--Так мне и надо за то, что я напрашиваюсь на комплименты! Теперь придется открыть вам правду: мне сорок два года.

Я вытаращил на нее глаза, снова вызвав этим ее мелодичный смех. Но я мог смотреть на нее сколько угодно и не заметил бы на ее лице ни единой морщинки. Кожа у нее была гладкая, как слоновая кость, щеки округлые и полные, губы алые, как те розы, которые она нам принесла. Ее прекрасные, обнаженные для работы, руки были сильны и точно изваяны от плеча до кисти. Она зарделась под моим взглядом, хотя было ясно, что она принимает меня за восьмидесятилетнего старика. Чтобы покончить с этой маленькой неловкостью, я сказал:

--Вот видите, старая пословица права. Я напрасно позволил вам вызвать меня на такой нескромный вопрос.

Она опять засмеялась.

--Ну, дети мои, старые и молодые,--сказала она,--я должна браться за работу. Нам сейчас предстоит много дела, и я хочу поскорее с ним справиться: вчера я начала одну интересную старую книгу, которую хочу почитать и сегодня. Итак, до свиданья!

Она махнула нам рукой и легкой походкой пошла по залу, унося с собой (как сказал Вальтер Скотт) часть солнца с нашего стола.

--Ну, гость,--обратился ко мне Дик, когда она ушла,--не желаете ли вы задать вопрос-другой нашему другу? Теперь ваша очередь!

--Я буду очень рад ответить вам,--отозвался ткач.

--Мои вопросы не будут особенно трудны, сэр. Я слышал, что вы ткач, и хотел бы расспросить вас об этом ремесле, так как интересуюсь или, вернее, интересовался им.

--Боюсь, что не смогу быть вам очень полезен в этом вопросе!--сказал он.--Я выполняю самую обыкновенную, механическую работу, и, в сущности, я простой ремесленник, не то что Дик. Но, помимо работы на ткацком станке, я занимаюсь немного типографским набором и печатанием, хотя мало сведущ в новейших печатных машинах. Впрочем, типографское дело начинает отмирать, так же как чрезмерное увлечение выпуском книг, и мне пришлось обратиться к другому занятию, к которому я склонен: я взялся за математику. Кроме того, я пишу нечто вроде археологических заметок по истории быта конца девятнадцатого века. Главным образом для того, чтобы дать картину страны перед началом Борьбы. Вот почему я и спросил у вас об Эппингском лесе. Признаюсь, вы меня обескуражили, хотя ваши сведения были очень интересны. Мы с вами еще побеседуем, когда уйдет Дик. Я знаю, он считает меня книжным червем и презирает за неловкость в физической работе. Так уж повелось в наше время. Из прочитанных мною книг девятнадцатого века (а я прочел их немало) мне ясно, что это своего рода возмездие за глупость тех дней, когда презирали того, у кого были ловкие руки. Однако, дружище Дик, как говорится: *Ne quid nimis*<sup>1</sup>.--Не пересаливай!

--Ну вот еще,--возразил Дик,--разве я такой? Разве я не самый терпимый человек на свете, всегда довольный, пока ты не пристанешь ко мне, требуя, чтобы я тоже изучал математику или новую твою науку--эстетику. А ведь ты только мешаешь мне заниматься эстетикой практически, когда я беру в руки пластинку золота или стали и пускаю в ход паяльник и свой излюбленный молоточек!.. Эй! Вот идет сюда другой любитель задавать вопросы. Бедный наш гость! Ну, Боб, ты теперь должен помочь мне защитить его. Сюда, Боффин!--крикнул он, помолчав.--Сюда, если мы тебе так уж нужны!

Я взглянул через плечо и увидел что-то блестящее и сверкающее в лучах солнца, падавших в вестибюль. Тогда я повернулся и разглядел великолепную фигуру, которая медленно приближалась к нам по каменным плитам. Одежда этого человека была красиво и богато расшита золотом, и солнце играло на ней, как на золотых латах. Сам он был высок, темноволос и необыкновенно красив. И хотя лицо у него было такое же приветливое, как и у остальных моих друзей, в его движениях сквозила некоторая надменность, свойственная очень красивым людям,--равно мужчинам и женщинам. Он подошел и с улыбкой сел за наш стол, вытянув длинные ноги и свесив руку через спинку стула в свободной, грациозной позе, без тени аффектации, как это свойственно высоким и хорошо сложенным людям. Этот мужчина в цвете лет имел вид счастливого ребенка, которому только что подарили новую игрушку.

--Я вижу,--произнес он с изящным поклоном,--что вы и есть тот гость, о котором мне только что говорила Энни. Вы приехали издалека и не знаете нас и нашего уклада жизни. Поэтому, если вы ничего не имеете против, я попрошу вас ответить мне на несколько вопросов.

Но тут вмешался Дик:

--Нет, прошу тебя, Боффин, отложи это до другого раза! Ты, наверно, хочешь, чтобы гость чувствовал себя у нас приятно и уютно. А как это возможно, если он должен утруждать себя ответами на всевозможные вопросы, в то время как он еще не освоился с чуждыми для него обычаями и с окружающими его людьми? Нет, нет, я увезу его туда, где он сам будет спрашивать и требовать ответов, я увезу его к моему прадедушке в Блумсбери. Я уверен, что ты не будешь возражать. Итак, вместо того чтоб надоедать здесь гостю, сходи-ка ты сейчас к Джеймсу Аллену да закажи для меня экипаж. Править буду я сам. И скажи Джеймсу, чтобы он запряг старую Среброкудрую. А то ведь я лучше правлю лодкой, чем лошадью. Сбегай, старина, и не огорчайся: еще успеешь наговориться с гостем!

Я посмотрел на Дика, дивясь его фамильярности с такой важной особой. Между нами говоря, я думал, что этот мистер Боффин, несмотря на свое очень известное благодаря Диккенсу имя, должен быть по меньшей мере крупным сановником у этого странного народа. Но Боффин послушно поднялся и сказал:

--Ладно, старый загребной, будь по-твоему. У меня сегодня не особенно занятой день и, хотя (со снисходительным поклоном в мою сторону) приходится отложить удовольствие, которое доставил бы мне разговор с нашим ученым гостем, я согласен с тем, что ему следует как можно скорее повидаться с твоим почтенным родичем. Кстати, получив ответы на свои вопросы, он, наверно, лучше сумеет ответить на мои.

---

<sup>1</sup> Ничего лишнего! (лат.)

Когда он вышел, я сказал:

--Удобно ли с моей стороны спросить, кто такой этот мистер Боффин? Его имя, между прочим, напоминает мне о многих приятных часах, проведенных за чтением Диккенса.

--Да, да,--рассмеялся Дик,--и нам тоже. Я вижу, вы поняли в чем дело. Его настоящее имя Генри Джонсон. Мы зовем его Боффином шутки ради, отчасти потому, что он мусорщик, а еще потому, что он вызывающе одевается и ходит в золоте, как средневековый барон. Впрочем, пусть фронтит, если ему так нравится! Но мы, видите ли, его близкие друзья, и нам позволительно над ним подшучивать.

Я на некоторое время прикусил язык. Дик же продолжал:

--Отличный малый, и вы, наверное, полюбите его. Но у него свои слабости: он убивает время на сочинение старомодных романов и бывает очень горд, когда ему удастся верно схватить местный колорит. Предполагая, что вы приехали из какой-то забытой страны, где люди несчастны и, следовательно, интересны для сочинителя, он задумал вытянуть из вас какие-нибудь сведения. И не будет с вами стесняться. Если вы дорожите своим покоем, остерегайтесь его.

--Дик,--недовольным тоном произнес ткач,--мне кажется, что его романы очень хороши.

--Ну конечно,--ответил Дик,--вы птицы одного полета: математика и архаический роман друг друга стоят. Но вот он опять!

И действительно, «золотой мусорщик» позвал нас, стоя в дверях. Мы поднялись и вышли на крыльцо, перед которым нас ждал экипаж с запряженной в него крепкой серой лошастью. Я не мог не заметить, что экипаж был легок и удобен, без тошнотворной вульгарности, неразлучной с современными нам экипажами, особенно «элегантными». Этот экипаж был изящен и своими линиями напоминал уэссекские тележки. Мы с Диком уселись в него. Девушки, которые вышли проводить нас, помахали нам на прощанье, ткач ласково кивнул, мусорщик раскланялся грациозно, как трубадур. Дик тряхнул вожжами, и мы двинулись в путь.

#### *Глава IV* **ДОРОГА ЧЕРЕЗ РЫНОК**

Мы сразу же свернули в сторону от реки и скоро очутились на главной дороге, пролегающей через Хэммерсмит. Я ни за что не угадал бы, где мы находимся, если б наш путь не начался от реки. Кинг-стрит больше не существовало, и шоссе вилось по широким, залитым солнцем лугам и среди садовых насаждений.

Речонка, так и называемая «Крик»<sup>1</sup>, прежде забранная в подземные трубы, была теперь освобождена от оков, и когда мы переезжали ее по красивому мосту, я мог любоваться водой, еще вздутой приливом, и скользившими по ней разноцветными лодками. Вдоль дороги и среди полей виднелись окруженные густыми садами дома, к которым вели живописные тропинки. Дома были солидные, красивой архитектуры, но выстроены в деревенском стиле, напоминая жилища именов. Попадались красные кирпичные дома, как те, которые мы видели у реки, но преобладали деревянные, оштукатуренные. Они так походили на средневековые постройки, что я почувствовал себя словно перенесенным в четырнадцатый век. Чувство это усиливалось при виде одежды людей, попадавших на пути. В ней не было ничего «современного»: почти все были одеты ярко, особенно женщины, которые сияли таким здоровьем и красотой, что я едва сдержался, чтобы не обратить на это внимание моего спутника. Некоторые лица отличались каким-то особенным выражением задумчивости и благородства, но ни в одном я не увидел и намека на скорбь: все, а мы встречали по дороге немало народу, выглядели добродушными и искренне веселыми.

Мне показалось, что я узнаю Бродвей по все еще пересекающимся здесь дорогам. К северу тянулся ряд зданий, довольно низких, но хорошей архитектуры, украшенных орнаментами, что представляло контраст с простыми домами, разбросанными вокруг. Над этими невысокими постройками виднелась крутая свинцовая крыша и верхняя часть укрепленной контрфорсами стены огромного здания, богатейшего архитектурного стиля, о котором можно сказать только, что он соединял все лучшее от готики северной Европы до мавританского и византийского стилей, но без слепого подражания какому-либо из них. К югу от дороги стояло восьмиугольное здание с высокой крышей. Оно немного напоминало архитектурными линиями флорентийский баптистерий, но отличалось окружавшей его аркадой, украшенной необыкновенно изящным орнаментом.

Все это множество зданий, так неожиданно сменившее зеленые поля, поражало своим размахом и дышало таким полнокровием жизни, что я пришел в неопишуемый восторг и буквально захлебывался от радости. Мой друг, казалось, понимал меня и посматривал на меня ласково, с сочувственным интересом. Вскоре мы очутились среди многочисленных повозок, в которых сидели благообразные, цветущие на вид

---

<sup>1</sup> «Крик» (creek) — речонка, ручей (*англ.*)

мужчины и женщины с детьми,--все в ярких одеждах. Я решил, что это рыночные повозки, так как они были полны сельскими продуктами, весьма соблазнительными на вид.

--Излишне спрашивать вас, рынок ли это?--заметил я.--Вижу и сам. Но почему здесь такой роскошный рынок, и что это за чудесное здание? И еще вон то, другое, на южной стороне дороги?

--А это всего-навсего наш хэммерсмитский рынок,--сказал он.--Я рад, что он вам так нравится, мы действительно гордимся им. В здании, которое вас заинтересовало, зимой происходят собрания, летом же мы предпочитаем собираться в полях у реки напротив Барн Элмс. Здание справа--наш театр. Надеюсь, он вам нравится?

--Только идиоту он мог бы не понравиться,--ответил я.

Мой друг слегка покраснел от удовольствия.

--Я очень рад,--сказал он,--потому что тоже приложил руку к этому зданию. Я работал над главной дверью,--она сделана из чеканной бронзы. Может быть, мы осмотрим ее позже, среди дня, а теперь нам надо торопиться. Что касается рынка, то сегодня день не базарный, поэтому лучше приехать сюда в другой раз: тогда мы увидим больше народа.

Я поблагодарил его и спросил:

--Неужели все это простые крестьяне и крестьянки? Какие прелестные девушки попадаются среди них!

В эту минуту взгляд мой упал на высокую темноволосую молодую женщину с удивительно белой кожей, одетую, как бы в честь лета и жаркого дня, в красивое легкое светло-зеленое платье. Она приветливо улыбнулась мне и еще приветливее, как мне показалось, Дику.

Я помолчал и потом продолжал:

--Я спрашиваю, потому что не вижу людей, похожих на крестьян, которых я ожидал увидеть на рынке. Я хочу сказать, что не вижу здесь торгующих людей.

--Не понимаю,--ответил он,--каких, собственно, людей вы ожидали увидеть и что вы подразумеваете под словом «крестьяне». Это все соседи, живущие в долине Темзы. На наших островах есть места, где климат суровее и дождливее, чем здесь. У тамошних жителей более грубая одежда, и сами они сложены крепче, и лица у них более обветренные. Но многим такие лица нравятся больше наших. Говорят, в них больше характера, но это дело вкуса. Во всяком случае, союзы между нами и ими бывают очень счастливы,--задумчиво добавил он.

Я слушал его, хотя глаза мои смотрели в другую сторону, следя за прелестной женщиной, которая только что скрылась за калиткой с большой корзиной, полной раннего горошка. Я испытывал то разочарование, которое охватывает человека, когда он, увидев на улице интересное или милое лицо, знает, что едва ли увидит его вновь.

Я на минуту умолк, потом продолжал:

--Я хотел сказать, что не вижу здесь ни одного человека, которому жилось бы плохо.

Мой спутник нахмурил брови, с недоумением посмотрел на меня и ответил:

--Вполне понятно, что, если кто-нибудь нездоров, он сидит дома или, в лучшем случае, гуляет у себя по саду. Но я не знаю в настоящее время ни одного больного. Почему вы ожидали увидеть людей, которым плохо?

--Нет, нет,--сказал я.--Я не говорю о больных, я имею в виду бедных, понимаете ли--бедный, простой народ!

--Нет,--ответил он, весело улыбаясь,--я, право, не знаю, что сказать. Вам действительно надо скорее попасть к моему прадедушке. Он поймет вас лучше, чем я. Ну, вперед, Среброкудряя!

С этими словами он дернул вожжи, и мы бодро покатали на восток.

## *Глава V* ДЕТИ НА ДОРОГЕ

После Бродвея дома по обеим сторонам дороги стали попадаться все реже. Мы переехали через живописный ручеек, который протекал по местности, поросшей редкими деревьями, и вскоре опять подъехали к какому-то рынку и, как я уже угадал, залу для собраний. И хотя то, что я видел вокруг, было мне совершенно чуждо, я все-таки мог определить, где мы находимся, и не был удивлен, когда мой проводник коротко бросил. «Кенсингтонский рынок».

Вслед за тем мы свернули в короткую улицу, или, вернее, проезд между двумя длинными деревянными оштукатуренными домами с красивыми аркадами над тротуаром.

--Это и есть Кенсингтон,--сказал Дик.--Излюбленное место окрестных жителей, так как всех привлекает здешний поэтический лес. А от естествоиспытателей прямо проходу нет. Этот лес сохранился в девственном

виде, хотя он, конечно, невелик. Он не заходит далеко на юг, а тянется отсюда на северо-запад через Пэддингтон и немного вниз по Ноттинг-хиллу, затем на северо-восток к Примроз-хиллу и дальше. Узкая полоса его проходит через Кингсленд к Сток-Ньюингтону и Клэптону, где она расширяется и идет по холмам над Лийскими болотами. С другой стороны тех же холмов ему навстречу, как вам известно, протягивает руку Эппингский лес. Место, к которому мы подъезжаем, называется «Кенсингтонскими садами», но почему «садами», право, не знаю.

Мне очень хотелось сказать: «А я знаю», но вокруг было столько нового, что я предпочел придержать язык.

Дорога сразу углубилась в прекрасный лес, раскинувшийся по обеим ее сторонам. Впрочем, лес был заметно гуще на северной стороне, где мощно разрослись дубы и каштаны, а деревья, быстро растущие (среди которых я заметил особенно много платанов и сикоморов), достигали огромных размеров и были очень красивы.

Я почувствовал себя превосходно в испещренной солнечными бликами тени деревьев, так как день становился изрядно жарким. Прохлада и тень успокаивали мой возбужденный ум и наполняли меня дремотной негой. Я готов был вечно скользить так среди этой свежести и благоухания. Мой спутник, по-видимому, разделял мои ощущения и, позволив лошади замедлить шаг, вдыхал запахи леса, среди которых особенно сильно выделялся аромат придорожного папоротника.

Несмотря на всю свою романтичность, Кенсингтонский лес не был, однако, безлюден. Нам попадались навстречу группы людей, бродивших по лесу и по опушке. Среди них--много детей от шести--восемью лет и подростков до шестнадцати--семнадцати.

Они показались мне особенно прекрасными представителями этого народа, и, судя по всему, им было очень весело. Многие раскинули на лужайках палатки. Перед палатками там и сям горели костры, и над огнем на цыганский лад висели котелки. Дик объяснил мне, что среди леса разбросаны дома, и действительно мы мельком видели один или два. Он сказал также, что в большинстве дома эти очень малы и похожи на коттеджи тех времен, когда в стране еще были рабы. Все же они очень уютны и приспособлены для жизни в лесу.

--Они, должно быть, переполнены ребятишками,--сказал я, указывая на большие группы детей у дороги.

--Нет,--сказал он,--эти дети не все из ближайших лесных домов, многие пришли сюда из окрестных мест. Летом они часто собираются компаниями, иногда на целые недели, чтобы проводить время в лесу, и, как видите, живут в палатках. Мы поощряем их в этом. Они привыкают заботиться о себе, знакомятся с дикими обитателями леса. Чем меньше они будут сидеть в домах, тем лучше. Должен прибавить, что и взрослые часто уходят на лето в лес, хотя в большинстве случаев они отправляются в более обширные леса, например, в Виндзорский лес, Динский лес или леса на севере. Кроме удовольствия, это приносит и пользу, так как дает им случай поработать физически. К сожалению, за последние пятьдесят лет физический труд идет на убыль.

Мой спутник остановился и потом продолжал:

--Я говорю вам все это, как бы отвечая на вопросы, которые вы мысленно задаете, хотя и не высказываете вслух. Но мой прадедушка расскажет вам подробнее.

Я увидел, что тут опять может всплыть что-либо выше моего разума, и чтобы избежать возможной неловкости, спросил:

--Конечно, после такого лета дети вернутся в школу физически окрепшими и посвежевшими.

--В школу?--переспросил он--Что вы под этим понимаете? Я не вижу, какое отношение имеет это слово к детям. Мы действительно говорим о философской школе, о школе живописи, о школе жизни. А другого смысла,--сказал он, смеясь,--я что-то не знаю.

«Черт возьми!--подумал я,--нельзя мне рта открыть без того, чтобы не вызвать новые трудности. Не желая учить моего друга лексикологии, я подумал, что мне не следует ничего говорить о детских фермах, которые я привык называть школами. Ясно было, что их уже не существует, и потому после краткого колебания я сказал:

--Я употребил это слово в смысле системы воспитания.

--Воспитание,--в раздумье произнес он.--Я достаточно знаю латынь, чтобы понимать, что это слово<sup>1</sup> происходит от «Educere»--«выводить». И я слышал, как это слово произносят, однако ни один человек не мог мне точно объяснить его значение.

Вы можете себе представить, как много потерял мой новый друг в моих глазах, когда я услышал от него это откровенное признание, и я несколько пренебрежительно процедил:

--Воспитание--это система обучения детей.

--Почему же не стариков?--лукаво улыбаясь, возразил он.--Уверю вас, наши дети учатся независимо от всякой системы. Вы не найдете у нас ни одного ребенка, мальчика или девочки, который не умел бы плавать.

---

<sup>1</sup> Education (англ.)

Каждый из них привык гарцевать на маленьких лесных пони, вон там как раз скачет один мальчуган! Все дети знают, как приготовить себе пищу, старшие мальчики умеют косить. Многие могут крыть гонтом крышу, помогать плотникам, трудиться в лавке. Они знают очень много, уверяю вас.

--Да, но их умственное воспитание, развитие их ума!--любезно пояснил я свои слова.

--Гость,--промолвил он,--может быть, вы не учились тем вещам, о которых я говорил. Но не думайте все-таки, что для этой работы не нужно никакого умения и не требуется никакой сообразительности и умственного развития! Вы изменили бы свое мнение, если бы увидели, например, как дорсетширский паренек настилает крышу. Но я понимаю: вы говорите о книжном учении. Так это дело совсем простое! Большинство детей видят книги везде и повсюду и начинают читать с четырехлетнего возраста. Я слышал, что не всегда было так. Что же касается письма, то мы не поощряем ребят слишком рано царапать пером (конечно, они поступают по-своему). Это приучает их к плохому письму. А какая же польза в множестве плохо написанных страниц, когда так легко научиться простому печатанию. Вы понимаете, мы любим красивый почерк. Часто писатели, готовя книгу, переписывают свою рукопись или отдают ее переписать. Я говорю о тех книгах, которые нужны в небольшом числе экземпляров, например, поэтические произведения. Однако я уклонился в сторону. Прошу извинения, но меня особенно интересуют вопросы письма--я сам каллиграф.

--Итак,--сказал я,--вернемся к детям. Когда они овладели чтением и письмом, разве они не учатся чему-нибудь другому, например, языкам?

--Конечно,--ответил он,--Иногда даже еще не умея читать, они уже говорят по-французски. Это язык наиболее нам близкий--на нем говорят по ту сторону пролива. Затем дети учатся и немецкому языку, на котором говорят во многих общинных школах и колледжах континента. Эти языки преобладают и на островах наряду с английским, валлийским, ирландским, который представляет собой разновидность валлийского. Дети легко усваивают языки, потому что их хорошо знают родители. Кроме того, наши гости из-за моря часто привозят своих детей, и, играя друг с другом, малыши легко перенимают разговорную речь.

--А древние языки?--спросил я.

--Латынь и греческий обычно изучают вместе с новыми языками,--ответил он,--если хотят узнать их лучше.

--А история,--спросил я,--как вы преподаете историю?

--Если человек умеет читать, он читает, конечно, то, что его интересует. И он легко может найти кого-нибудь, кто посоветует ему, что лучше всего прочесть по тому или другому предмету, или объяснит непонятное место в книге, которую он читает.

--Чему же они еще учатся? Я не думаю, чтобы все изучали историю,--сказал я.

--Нет, нет,--ответил Дик,--некоторые совсем равнодушны к ней. По правде сказать, я не думаю, чтобы многие ею интересовались. Я слышал от прадеда, что история волновала людей преимущественно в период тревог, распри и борьбы, а вы сами знаете,--прибавил мой друг с приятной улыбкой,--как далеко мы от этого ушли. Многие изучают вопросы устройства мира, причины и следствия разных явлений--словом, естественные науки у нас процветают. Другие, как вы сами слышали от нашего Боба, занимаются математикой. Нет смысла подавлять естественные склонности человека.

--Неужели дети изучают все это?--спросил я.

--Это зависит от того,--ответил он,--кого вы считаете детьми, и вы должны помнить, до какой степени дети различны. Обычно они читают не очень много, чаще всего--книги о приключениях. Это продолжается приблизительно до пятнадцатилетнего возраста. Мы не поощряем раннего увлечения книгами, но вы часто можете встретить детей, стремящихся к книге с малых лет. Это может быть не особенно хорошо, но удерживать их бесполезно. Впрочем, в большинстве случаев такое увлечение длится недолго, и к двадцати годам они выравниваются. Дети почти всегда стремятся подражать взрослым, и если ребенок видит людей, занятых нужным и вместе с тем интересным трудом, например, постройкой дома, мощением улицы, садоводством, он именно к этому и станет тянуться. Поэтому я не думаю, чтобы нам следовало опасаться слишком большого числа ученых людей.

Что мне было на это отвечать! Я сидел молча, боясь какого-нибудь нового недоразумения. Но при этом смотрел во все глаза. В ожидании центральной части Лондона я старался представить себе, на что она стала теперь похожа.

Мой спутник, однако, не хотел расстаться с предметом нашего обсуждения и задумчиво продолжал:

--В конце концов не такая уж беда, если часть молодежи посвятит себя науке. Приятно видеть, как эти люди любят свою работу, которая сейчас не очень популярна. Между нами говоря, ученые в большинстве очень милый народ, такие тихие, мягкие, скромные, а в то же время они так ревностно стараются поделиться с другими своими знаниями! Во всяком случае, те, которых я встречал, мне очень нравились.

Его речь показалась мне настолько странной, что я готов был задать ему другой вопрос. Но в этот миг мы как раз достигли вершины холма, и направо внизу, сквозь длинную лесную просеку, я увидел стройное здание, которое показалось мне знакомым.

--Вестминстерское аббатство!--воскликнул я.

--Да,--ответил Дик--Вестминстерское аббатство. Вернее, то, что от него осталось.

--Что вы с ним сделали?--в ужасе воскликнул я.

--Что мы сделали? Да ничего особенного: мы только почистили его,--сказал он.--Ведь все стены снаружи были испорчены уже несколько столетий назад, что же касается внутренних помещений, то они сохраняются во всей своей красоте после того, как более ста лет назад произвели основательную чистку и выбросили уродливые памятники дураков и мошенников, которые, по словам прадеда, только мешали.

Мы проехали еще немного, я опять взглянул направо и голосом, в котором звучало сомнение, промолвил:

--Да ведь это здание Парламента! Вы еще пользуетесь им?

Дик расхохотался и не сразу совладал с собой. Он похлопал меня по плечу и сказал:

--Я вас понимаю, сосед. Вас, конечно, удивляет, что мы сохранили это здание. Я многое знаю о нем: мой прадед давал мне книги о той странной игре, которая там велась. Пользуемся ли мы им? Да, оно служит в одной части крытым рынком, а в другой складом навозного удобрения. Здание очень удобно для этих целей, так как стоит на берегу реки. Я слышал, что в самом начале нашей эпохи его собирались снести, но против этого восстало некое общество любителей старины, в свое время оказавшее стране какие-то услуги. Это общество протестовало против разрушения и других зданий, которые большинством признавались негодными и бесполезными. Общество действовало так энергично и приводило такие веские доводы, что в большинстве случаев одерживало верх. Признаюсь, в конечном счете я этому даже рад, так как несурзные старые здания служат контрастом к прекрасным постройкам нашего времени. Вы увидите здесь еще несколько таких зданий. Например, то, в котором живет мой прадед, и еще другое--огромное, которое называют собором святого Павла. Видите ли, нам нет необходимости сносить эти жалкие и к тому же немногочисленные сооружения, они не мешают нам, так как мы можем строиться в любом месте. И мы не боимся упадка строительного искусства, так как при постройке новых зданий, даже самых скромных, приходится решать немало художественных задач. Например, я лично так ценю простор внутри дома, что при необходимости готов пожертвовать для него внешней формой здания. Что касается украшений, то они вполне допустимы в жилых домах, но неуместны в общественных сооружениях--залах для собраний, рынках. Впрочем, по словам прадеда, я немного помешан на архитектуре. И в самом деле, я убежден, что энергия народа должна быть направлена главным образом на подобную созидательную работу. Ей не видно конца, тогда как в других областях человеческой деятельности поставлены известные границы.

## *Глава VI* **ЗА ПОКУПКАМИ**

Тем временем мы неожиданно выехали из лесной местности и очутились на довольно короткой и красивой улице, которую мой спутник назвал Пикадилли. Нижние этажи домов я принял бы за магазины, если бы мог усмотреть какие-либо признаки купли и продажи. Товары в витринах были живописно разложены как бы для приманки прохожих, и действительно люди стояли и любовались ими, входили и выходили со свертками в руках, будто в самом деле тут шла торговля.

По обеим сторонам улицы тянулись изящные аркады для пешеходов, как в старинных итальянских городах. Посреди улицы возвышалось огромное здание, которое я уже ожидал увидеть, так как догадывался, что это место служит каким-то центром, а каждый центр имеет особое общественное здание.

--Это тоже рынок,--сообщил Дик,--но он отличается от многих других. Верхние этажи домов отведены для приезжих, которые стекаются сюда со всех концов страны. Здесь очень густое население,--вы в этом сейчас убедитесь,--так как многие стремятся в людные места, чего, правда, не могу сказать о себе.

Я невольно улыбнулся при мысли, как долго сохраняется традиция. Здесь царил дух Лондона, удержавшего за собой права центра, умственного центра, как мне казалось. Однако я промолчал и только попросил спутника ехать медленнее, чтобы я мог полюбоваться удивительно красивыми вещами в витринах.

--Да,--сказал он,--на этом рынке можно приобрести только самые ценные товары, между тем как рынок в здании Парламента, до которого отсюда рукой подать, поставяет капусту, репу и другие овощи, а также пиво и дешевые сорта вин.

Он посмотрел на меня с любопытством и спросил:

--Не хотели бы вы, как говорится, походить по лавкам?

Я взглянул на свою невзрачную одежду из грубой синей материи, которую уже имел достаточно случаев сравнить с яркими нарядами горожан, встречавшихся нам по дороге, и подумал: «Похоже на то, что скоро

меня будут показывать праздной публике, как любопытную диковинку». Но я совсем не хотел походить на пароходного кассира в отставке, и, несмотря на то что произошло на лодочной пристани, моя рука потянулась в карман, где, к моему ужасу, не нашлось никакого металла, кроме старых, заржавленных ключей. Тут я вспомнил, что во время нашего разговора в хэммерсмитском Доме для гостей я вынул деньги, чтобы показать монеты хорошенькой Энни, и забыл их на столе. У меня вытянулось лицо, и Дик, заметив это, поспешно спросил:

--В чем дело, гость? Вас ужалила оса?

--Нет,--ответил я,--но я забыл кое-что взять с собой.

--Что бы вы ни забыли, вы все найдете на рынке. Поэтому не расстраивайтесь!

Тем временем я вновь обрел душевное равновесие, вспомнив удивительные обычаи этой страны. Не имея желания услышать новую лекцию по политической экономии и нумизматике, я сказал:

--Мой костюм!.. Могу ли я... Как вы полагаете, что можно сделать по этой части?

Дик спокойно ответил:

--Знаете что: отложите приобретение нового платья. Мой прадед--знарок старины. Он захочет посмотреть на вас в таком виде, в каком вы здесь появились. И затем.. я, конечно, не смею делать вам указания, но, по-моему, даже нехорошо с вашей стороны лишать людей удовольствия разглядывать ваш костюм. Вы не согласны со мной?--совершенно серьезно добавил он.

Я вовсе не считал себя обязанным оставаться пугалом среди этих людей, влюбленных в красоту, но ясно увидел, что столкнулся с какими-то укоренившимися предрассудками и, не желая ссориться с моим новым другом, ответил только:

--Ах конечно, конечно!

--Ну что ж,--любезно сказал он,--вы можете, если хотите, заглянуть в магазины. Что вы хотели бы приобрести?

--Табак и трубку, если можно,--ответил я.

--Разумеется,--сказал он.--Как же я не спросил вас об этом раньше! Боб всегда говорит, что мы, некурящие,--большие эгоисты, и, кажется, он прав. Но пойдем, вот как раз нужный нам магазин.

С этими словами он остановил лошадь, выпрыгнул из экипажа, и я последовал за ним. Очень красивая женщина, роскошно одетая в узорчатые шелка, медленно проходила мимо, разглядывая витрины.

--Не будете ли вы добры присмотреть за нашей лошадью,--обратился к ней Дик,--пока мы на минутку зайдем сюда?

Она кивнула нам, приветливо улыбаясь, и стала гладить лошадь своей прелестной ручкой.

--Что за очаровательное создание!--сказал я Дику, когда мы вошли в магазин.

--Кто? Наша Среброкудрая?--шутливо спросил он.

--Нет,--ответил я,--та, Златокудрая.

--Да, правда,--сказал Дик,--очень хорошо, что их много,--на каждого Джека по Джилли. Иначе нам, пожалуй, пришлось бы драться за них. Я не говорю,--продолжал он серьезно,--что этого не случается даже теперь. Любовь не очень-то рассуждает, а нравственные извращения и своеволие встречаются чаще, чем думают наши моралисты. Всего лишь месяц назад,--добавил он уже мрачным тоном,--у нас произошло печальное событие, которое стоило жизни двум мужчинам и одной женщине. Оно произвело на нас очень тяжелое впечатление. Не спрашивайте меня об этом теперь, я расскажу когда-нибудь позже.

Между тем мы вошли в магазин, где я увидел прилавок и изящные, но без особых претензий полки по стенам, в сущности мало отличающиеся от тех, которые я привык видеть раньше. В магазине было двое детей: смуглый мальчик лет двенадцати, который сидел за книгой, и прехорошенькая девчурка, по-видимому годом старше его, которая, сидя за прилавком, тоже читала. Они, несомненно, были брат и сестра.

--Здравствуйте, маленькие соседи! Вот мой друг, ему нужны табак и трубка. Можете ли вы услужить ему?

--Конечно,--ответила девочка.

Застенчивая, но проворная, она была очень забавна. Мальчик поднял голову и уставился на мой диковинный костюм, но вдруг покраснел и отвернулся, сообразив, что ведет себя не совсем вежливо.

--Дорогой сосед,--спросила девочка, с серьезным видом ребенка, играющего в продавца и покупателя,--какого табаку вы желаете?

--«Латакию»,--сказал я, чувствуя себя как бы участником детской игры, и мне не верилось, что я в действительности получаю то, что мне требуется.

Тем временем девочка взяла с полки небольшую корзиночку и насыпала в нее табак из банки. Наполнив корзиночку, она поставила ее на прилавок передо мной, и я по аромату и виду табака мог убедиться, что это действительно отличная «Латакия».

--Но вы не взвесили табак,--сказал я,--сколько же можно взять?  
--Как сколько?--переспросила она.--Советую вам наполнить кисет, вы ведь можете поехать куда-нибудь, где не достанете «Латакии». Дайте ваш кисет.

Я пошарил в кармане и наконец вытащил тряпочку, которая служила мне табачным кисетом.

Девочка посмотрела на нее с оттенком презрения и сказала:

--Дорогой сосед, я дам вам кое-что получше этого лоскута.

Она мелкими шажками направилась в глубину лавки и вскоре вернулась. Проходя мимо мальчика, она шепнула ему что-то на ухо, и он, кивнув, вышел из лавки. Девочка же показала мне ярко расшитый мешочек из красного сафьяна и сказала:

--Вот я выбрала этот для вас,--он и поместительный и красивый.

С этими словами она стала набивать кисет табаком и затем, протянув его мне, сказала:

--Теперь займемся трубкой. Позвольте мне выбрать для вас! Мы только что получили три превосходные трубки.

Девочка принесла большую трубку, вырезанную из какого-то твердого дерева, оправленную в золото, с украшениями из мелких драгоценных камней. Это была прелестная блестящая игрушка, напоминавшая японскую работу, но выполненная еще лучше.

--Бог мой!--воскликнул я.--Такая трубка для меня слишком роскошна и годится разве что для китайского императора. Да я и потерять ее могу, я всегда теряю свои трубки.

Девочка растерянно посмотрела на меня.

--Неужели трубка вам не нравится, сосед?

--Нет, нет!--воскликнул я.--Конечно, она мне нравится!

--Ну так возьмите ее и не беспокойтесь, что можете потерять. Что за беда, кто-нибудь другой найдет ее и будет ею пользоваться, а вы получите другую.

Я взял трубку из ее рук, чтобы получше рассмотреть, и, забыв всякую осторожность, спросил:

--Сколько же я должен заплатить за эту вещь?

Дик положил руку мне на плечо, и, обернувшись, я встретил его взгляд, в котором прочел шутовское предостережение против нового проявления с моей стороны давно отмершей морали купли-продажи. Я покраснел и прикусил язык. А девочка с глубочайшей серьезностью смотрела на меня как на иностранца, путающегося в словах, из которых ей решительно ничего не понять.

--Очень вам признателен,--горячо произнес я, кладя трубку в карман, не без опасения, что мне придется в самом недолгом времени предстать перед судьей.

--Ах, мы вам очень рады,--сказала девочка, очаровательно разыгрывая взрослому.--Большое удовольствие услужить такому милому старому джентльмену, как вы. Ведь сразу видно, что вы приехали из далеких заморских краев.

--Да, моя дорогая,--сказал я,--мне довелось много путешествовать.

Когда я произносил из вежливости эту ложь, вернулся мальчуган с подносом, на котором я увидел высокую бутылку и два замечательно красивых стакана.

--Соседи,--сказала девочка (весь разговор вела она, так как младший брат был, очевидно, очень робок),--прежде чем уйти, прошу вас выпить по стаканчику за наше здоровье, потому что у нас не каждый день бывают такие гости!

Тем временем мальчик поставил поднос на прилавок и торжественно налил в оба бокала золотистого вина. Я с удовольствием выпил, потому что день стоял жаркий. «Я еще живу на свете,--подумал я,--и рейнский виноград еще не потерял своего аромата». Если когда-либо я пил хороший штейнбергер, так это именно в то утро. И я решил спросить потом у Дика, откуда у них такое вкусное вино, если больше нет рабочих, которые изготавливают прекрасные вина, а сами вынуждены довольствоваться кислятиной.

--А вы разве не выпьете по стаканчику, дорогие маленькие друзья?--спросил я.

--Я не пью вина,--сказала девочка,--я предпочитаю лимонад, но все-таки желаю вам доброго здоровья!

--А я больше люблю имбирное пиво,--сказал мальчик.

«Однако,--подумал я,--детские вкусы не очень переменились». И, распрощавшись, мы вышли из магазина.

К моему великому разочарованию, произошла перемена, как бывает только во сне, и нашу лошадь вместо прекрасной молодой женщины держал высокого роста старик. Он объяснил, что женщина больше не могла ждать и он заменил ее. Увидев, как вытянулись наши лица, он подмигнул нам и рассмеялся. Нам ничего не оставалось, как тоже рассмеяться.

--Куда вы направляетесь?--спросил старик у Дика.

--В Блумсбери,--сказал Дик.

--Если я вам не помешаю, я поеду с вами.

--Отлично,--ответил Дик старику,--скажите, когда вам нужно будет сойти, и я остановлю лошадь. Ну, поехали!

Итак, мы снова пустились в путь. Я спросил, часто ли дети обслуживают покупателей на рынках.

--Довольно часто, если им не приходится иметь дело с тяжестями, но не всегда,--ответил Дик.--Детей это занятие развлекает, и, кроме того, оно им очень полезно. Они учатся обращаться с разного рода товарами и узнают, как сделана та или иная вещь, откуда она получается, и тому подобное. Кстати, это довольно легкая работа, которая всем доступна. Говорят, в начале нашей эпохи многие страдали наследственной болезнью, называемой «ленью». Ей подвержены были прямые потомки тех людей, которые в плохие времена заставляли других работать на себя. В исторических книгах этих людей называют рабовладельцами и работодателями. Зараженные ленью, их потомки обычно прислуживали в лавках, так как они только к этому и были способны. Я думаю, в то время их просто заставляли работать, так как, если эту болезнь не лечить энергично, больные, особенно женщины, становятся такими безобразными и рожают таких безобразных детей, что люди просто не могут выносить их вида. С радостью могу сказать, что теперь все это позади! Болезнь совершенно исчезла или проявляется в таких легких формах, что небольшая доза слабительного обычно избавляет от нее. Ее иногда именуют теперь сплином или хандрой. Не правда ли, странные названия?

--Да,--сказал я в глубоком раздумье. Но тут вмешался в разговор старик:

--Все это правда, сосед. Я сам видел таких женщин, однако уже состарившихся. А мой отец знал их в молодости, и он говорит, что они мало походили на молодых женщин. Пальцы у них напоминали спицы, руки болтались как плети, талия тонкая--вот-вот переломится. Губы--узкие, нос--острый, щеки--бледные. Что им ни скажешь, они принимали обиженный вид. Нет ничего удивительного, что они производили на свет безобразных детей. Никто, разве только мужчины вроде них самих, не мог любить этих несчастных.

Старик замолчал и, казалось, погрузился в свое прошлое.

--И тогда, соседи,--продолжал он снова,--все были крайне озабочены этой болезнью и потратили много усилий на всевозможные попытки ее излечения. Вы не читали медицинских книг по этому вопросу?

--Нет,--ответил я, так как он обращался ко мне.

--Видите ли, одно время считали, что эта болезнь--ослабленная форма средневековой проказы. Зараженных ею людей изолировали, и обслуживал их специальный персонал--тоже из их числа, отличавшийся от остальных больных своей одеждой. Они носили, например, штаны из ворсистой ткани, которую прежде называли бархатом.

Все это казалось мне очень интересным, и я с удовольствием послушал бы старика дольше, однако Дику явно надоел такой поток древней истории. Кроме того, ему, вероятно, не хотелось, чтобы я слишком утомился перед свиданием с прадедом. В конце концов он рассмеялся и сказал:

--Извините меня, соседи, но я, право, не выдержу: подумать только, что были люди, не любившие работы! Это слишком смешно. Даже и ты любишь иной раз поработать, старушка!--сказал он и ласково дотронулся до лошади хлыстом.--Какая странная болезнь! Действительно удачное название--хандра.

И он опять расхохотался, пожалуй, слишком громко при его хороших манерах. Рассмеялся и я за компанию, но не вполне искренне, потому что--как вы понимаете--вовсе не находил таким уж странным, что люди не любили работать.

## *Глава VII* **ТРАФАЛЬГАР-СКВЕР**

Я снова принялся смотреть вокруг, потому что мы уже выехали за пределы рынка Пикадилли и находились в квартале нарядных домов, которые я назвал бы виллами, будь они также уродливы и вычурны. Однако ничего подобного я здесь не встретил. Каждый дом был окружен салом, тщательно возделанным, с роскошными цветами. Дрозды распевали в листве деревьев, которые, за исключением кое-где попадавшихся лавров и лип, были все фруктовые. Я заметил много деревьев, отягченных вишнями. Несколько раз, когда мы проезжали мимо садов, дети и молоденькие девушки предлагали нам корзинки с фруктами. Среди этих домов и садов, конечно, трудно было найти следы прежних улиц, но мне казалось, что главные магистрали остались те же.

Наконец мы очутились на широком открытом месте, которое имело небольшой уклон к югу. Обилие здесь солнца было использовано для разведения фруктового сада, преимущественно из абрикосовых деревьев. В центре возвышалась прелестная деревянная беседка, разукрашенная и позолоченная, похожая на

киоск для прохладительных напитков. С южной стороны сада, под сенью старых груш, тянулась дорога, в конце которой виднелась башня Парламента, или Навозного рынка.

Странное чувство охватило меня. Я закрыл глаза от солнца, сверкавшего над этим роскошным садом, и на мгновение передо мной возникла фантасмагория минувших дней.

Большое пространство, окруженное высокими уродливыми домами. На углу уродливая церковь, за мной неопишимо безобразное здание с куполом. Улица кишит измученными зноем, возбужденными людьми, между которыми снуют омнибусы, переполненные туристами. Вымощенная середина площади занята фонтаном. На площади только кучка мужчин в синих мундирах и несколько исключительно уродливых бронзовых статуй. Одну из них взгромоздили на верхушку высокой колонны. Площадь охраняется с одной стороны четырьмя шеренгами рослых мужчин в синей форме, а с другой, южной, стороны в сумраке серою ноябрьского дня мертвенно белеют каски конных солдат.

Я вновь открыл глаза навстречу солнечному свету и увидел вокруг себя шумящие деревья и благоухающие цветы.

--Трафальгар-сквер!--воскликнул я.

--Да,--сказал Дик, снова натягивая вожжи,--вы правы. И я не удивляюсь, если вы находите это название бессмысленным. Но, право, не стоило его изменять: память о былых безумствах никому не мешает. А впрочем, я иногда думаю, что следовало бы назвать эту площадь в память великой битвы, которая разыгралась здесь в тысяча девятьсот пятьдесят втором году. Это было достаточно важное событие--если историки не лгут.

--Что они обычно делают или, по крайней мере, делали,--добавил старик.--Например, что вы на это скажете, соседи? В книге Джеймса «История социал-демократии»,--кстати, глупейшая книга!--я прочел путаное описание сражения, которое произошло здесь приблизительно в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году (я плохо помню хронологию). Какие то местные жители, говорится в книге, хотели провести здесь собрание, но муниципалитет Лондона, или Совет, или Комитет, или какое-то другое варварское скопище дураков напало на этих «граждан» (как их тогда называли), двинув против них вооруженную силу. Это одно уже слишком нелепо, чтобы быть правдоподобным! Но,--говорится дальше,--«инцидент не имел особых последствий», что, конечно, слишком нелепо, чтобы быть возможным!

--Что ж,--сказал я,--ваш Джеймс не солгал. Все это правда, но только никакого сражения не было. Просто миролюбивые и безоружные люди были избиты негодьями, вооруженными дубинками.

--И они это стерпели?--вскричал Дик, и я в первый раз увидел недоброе выражение на его приветливом лице.

--Нам пришлось стерпеть,--сказал я, покраснев.--Нам больше ничего не оставалось.

--Вы, кажется, хорошо осведомлены в этих делах, сосед,--заметил старик, пристально поглядев на меня.--Правда ли, что этот случай не имел особых последствий?

--Последствия были такие,--сказал я,--что многих отправили в тюрьмы.

--Из тех, кто орудовал дубинками?--спросил старик.--Всыпали, значит, чертям!..

--Нет, из тех, против кого орудовали дубинками,--ответил я.

--Друг, я подозреваю, что вы начитались врак и оказались слишком доверчивы,--строго произнес старик.

--Уверяю вас,--настаивал я,--то, что я говорю, сушая правда!

--Хорошо, хорошо, я вижу, что вы думаете, сосед!--продолжал он.--Но я не понимаю, почему вы, собственно, так уверены.

Я не мог ему объяснить «почему» и промолчал. Между тем Дик, который сидел, задумчиво нахмурясь, заговорил наконец мягко и даже с грустью:

--Как странно думать, что люди, подобные нам жившие в этой прекрасной, счастливой стране и обладавшие, подобно нам, чувствами и привязанностями, могли поступать так отвратительно!

--Верно!--поучительным тоном заметил я.--Но то время было все-таки лучше, чем предшествовавшее ему. Разве вы не читали о Средних веках и о жестокости тогдашних законов? В те времена люди, казалось, находили удовольствие в том, чтобы мучить своих собратьев. По правде сказать, они больше поклонялись палачу и тюремщику, чем богу.

--Да,--сказал Дик,--есть хорошие книги о той эпохе, и я некоторые из них читал. Что же касается большой перемены к лучшему в девятнадцатом веке, то ее я не вижу. В Средние века люди поступали согласно своей совести (на это справедливо указывает ваше замечание об их боге) и сами были готовы претерпеть то зло, которое причиняли другим. А что касается девятнадцатого века, то люди тогда были лицемерами, с претензией на человечность. Они мучили тех, кто был им подвластен, заточая их в тюрьмы без

всякой причины или разве за те поступки, к которым сами тюремщики их вынуждали. О, даже мысль об этом ужасна!

--Но, может быть, они сами не знали, каково сидеть в тюрьме?--заметил я.

Дик помрачнел и даже рассердился.

--Тем больший позор им, раз мы с вами и то знаем, что это такое, столько лет спустя!--воскликнул он.--Видите ли, сосед, они не могли не знать, как вредны тюрьмы с точки зрения общего народного блага.

--Ау вас совсем нет больше тюрем?

Как только у меня вырвались эти слова, я понял, что сказал глупость, так как Дик густо покраснел и нахмурился, а старик удивился и огорченно посмотрел на меня. Сдерживая гнев, Дик сказал:

--Как вы могли задать подобный вопрос?! Разве я не говорил вам, что мы достаточно знаем о тюрьмах по свидетельству источников, заслуживающих доверия. Мы очень ясно представляем себе прежние застенки. И разве вы сами не обращали внимания, что у встречавшихся нам по дороге людей счастливый вид? А как могли бы люди быть счастливы, зная, что их друзья в тюрьмах? Неужели они терпели бы это спокойно? Если бы люди томились в тюрьмах, разве можно было бы скрыть это от народа, как можно скрыть случайное убийство. Такое убийство происходит не преднамеренно, без хладнокровной поддержки многих лиц, как это бывает при заключении в тюрьму. Тюрьма! О, нет, нет!--Он остановился и, немного остыв, продолжал уже мягче:--Простите меня! Мне не следовало так горячиться, раз теперь никаких тюрем нет. Боюсь, что вы осудите мою несдержанность. Вы приехали из дальних стран, и нельзя ждать от вас знакомства со всеми этими вещами. Наверно, мои слова вас заделали.

Это было отчасти верно. Но он был так искренен, что в своей горячности понравился мне еще больше, и я сказал:

--Нет, я сам виноват, сболтнув глупость. Позвольте переменить тему нашего разговора и спросить у вас, что это за внушительное здание виднеется налево, в конце платановой аллеи?

--А,--ответил он,--это старинное здание, построенное еще в первой половине девятнадцатого столетия и, как видите, в несуразном, причудливом стиле. Но в нем хранится много чудесных произведений искусства, большей частью--картин, и среди них немало старинных. Это «Национальная галерея». Я иногда задумывался над тем, что означает это название. В наши дни помещения, в которых собраны для показа картины, всегда называют национальными галереями, вероятно, по примеру этой. Их очень много разбросано по всей стране.

Не пытаясь просветить его, ввиду трудности задачи, я достал свою великолепную трубку и закурил, в то время как наша старая лошадка потрусилась дальше.

--Эта трубка--очень затейливая игрушка,--обратился я к Дику.--Вы представляетесь мне такими дельными людьми, и ваша архитектура так прекрасна. Почему же вы тратите время на подобные пустяки?

Не успел я произнести эти слова, как уже пожалел о них: хорошо же я отблагодарил за прекрасный подарок! Но Дик, по-видимому, не заметил моей оплошности и произнес:

--Как сказать! Это красивая вещица, а так как никого не заставляют их делать, почему этим не могут увлечься любители. Конечно, если бы художников-резчиков было мало, все они были бы заняты, как вы это называете, «архитектурой», и тогда никто не делал бы таких «игрушек» (хорошее слово!). Но так как выполнять резные работы умеет множество людей,--в сущности, почти все, и так как спрос на подобный труд сокращается, мы поощряем изготовление мелких художественных изделий.

Он на минуту озабоченно нахмурился, но затем лицо его просветлело, и он сказал:

--В конце концов вы должны признать, что трубка прелестна. Как чисто и тонко вырезаны все эти человечки под деревьями! Может быть, слишком изысканно для трубки, зато красиво!

--Эта вещица, пожалуй, слишком ценна для своего назначения,--заметил я.

--Что такое?--переспросил он.--Я не понимаю.

Я только начал свои беспомощные объяснения, как вдруг мы подъехали к железным воротам громадного неуклюжего здания. Там, казалось, шла какая-то работа.

--Что это такое?--спросил я с живостью, так как мне было приятно среди всего чуждого найти что-нибудь знакомое, привычное--Не фабрика ли?

--Да,--сказал он,--я вас понял. Это именно то, что вы думаете. Но мы теперь называем это не фабрикой, а мастерскими объединенного труда. Здесь собираются люди, желающие работать вместе.

--Вероятно,--сказал я,--здесь используют для работы тот или иной вид энергии?

--Нет, нет,--возразил он,--зачем людям собираться всем вместе, для того чтобы пользоваться двигателями, когда они могут пользоваться ими у себя дома,--по двое, по трое или даже каждый в отдельности. Нет, люди собираются в мастерской объединенного труда ради занятий ремеслом, если

совместная работа необходима или более удобна. И такая работа подчас очень приятна. Здесь, например, выделывают глиняную посуду и стекло. Вон там вы можете видеть верхушки печей. Ведь очень удобно иметь под рукой большие плавильные и обжигальные печи, тигли и прочие принадлежности? Таких фабрик у нас много. Смешно было бы, если бы человек с склонностью к гончарному или стеклодувному делу вынужден был или жить в определенной местности, или отказаться от приятной для себя работы.

--Я не вижу дыма фабричных труб,--удивился я.

--Дыма?--переспросил Дик.--При чем тут дым?

Я замолчал, и он продолжал:

--Это помещение внутри очень удобное, хотя столь же простое, как снаружи. Мне кажется, что работа на гончарном круге должна быть занимательной, занятие же стеклодува--довольно утомительно. Но это дело многим нравится, и не удивительно: если втянуться, то испытываешь особое чувство власти над расплавленной массой стекла. Интересной работы здесь много,--добавил он, улыбаясь,--как ни беречь стеклянные вещи, они все равно рано или поздно разобьются. Вот почему работы в мастерской всегда хватает.

Я молчал и думал.

В это время мы подъехали к группе людей, чинивших дорогу. Это немного задержало нас, но я не был огорчен, так как все, что я видел до сих пор, казалось мне каким-то летним праздником, и мне хотелось посмотреть, как этот народ умеет работать по-настоящему. Люди только что отдохнули и, когда мы к ним подъехали, как раз приступили к работе. Стук их кирок вывел меня из задумчивости. Их было человек двенадцать, крепких молодых людей, которые напомнили мне компанию оксфордских студентов, членов гребного клуба, и казались не более тех обремененными своей работой. Их верхняя одежда лежала, сложенная в порядке, на обочине дороги, под охраной шестилетнего мальчугана, который обнимал огромного сторожевого пса, имевшего такой разнеженный вид, словно ему одному светило солнце в этот чудесный летний день. Всмотревшись в ближайшую грудку одежды, я заметил сверкание золотых и серебряных вышивок и заключил, что многие молодые люди обладали вкусом «золотого мусорщика» из Хэммерсмита. Тут же на земле стояла большая корзина, в которой угадывались вино и холодный пирог. Несколько молодых женщин наблюдали за работой и ее исполнителями. Им было чем полюбоваться. Мощный удар следовал за ударом. Молодые люди наносили их очень ловко. Красота их лиц и сложения гармонировала с чудесным летним днем. Они смеялись и весело болтали друг с другом и с женщинами. Но вот их старший поднял голову и заметил, что они преграждают нам путь.

--Стой, друзья, дадим соседям проехать!--крикнул он, перестав размахивать киркой.

Тогда остальные, прервав работу, окружили нас и стали помогать старой лошади, подталкивая колеса экипажа по раскопанной дороге. Затем, как люди, увлеченные интересным делом, они поспешили вернуться на места, с улыбкой пожелав нам счастливого пути. И едва мы успели отъехать, как позади нас вновь зазвенели удары кирок. Дик повернулся, посмотрел на них через плечо и сказал:

--Им сегодня повезло: погода прекрасная, чтобы состязаться, кто больше перекопает за один час. И я вижу, что эти молодцы хорошо знают свое дело. Для такой работы нужна не только сила. Верно я говорю, гость?

--Думаю, что да,--ответил я,--но, по правде сказать, к подобной работе я никогда не прикладывал рук.

--Неужели?--сочувственным тоном сказал Дик.--Жаль! Эта работа полезна для развития мускулов, и мне она по сердцу. Хотя надо признать, что во вторую неделю она приятнее, чем в первую! Не могу сказать, что я в ней особенно ловок. Когда я работал, товарищи обычно подтрунивали надо мной. Помню, они припевали: «Замахнись повыше! Поклонись пониже!»

--Такая работа не шутка,--заметил я.

--Эх,--сказал Дик,--когда дело ладится и с тобой веселые товарищи, все кажется шуткой! Чувствуешь себя таким счастливым!

И я опять промолчал и задумался.

## *Глава VIII* **СТАРЫЙ ДРУГ**

Мы свернули на живописную узкую дорогу. Ветви старых платанов почти скрещивались над нашими головами. За деревьями виднелись низкие дома, расположенные близко друг от друга.

--Лонг Акр,--сказал Дик.--Очевидно, когда-то здесь было возделанное поле. Как странно, что места так меняются и сохраняют старые названия. Посмотрите, как тесно стоят дома, и все-таки люди продолжают здесь строиться.

--Да,--сказал старик,--но, кажется, поле было застроено еще в первой половине девятнадцатого века. Я слышал, что именно здесь было самое густое население города. Однако мне нужно сойти, соседи! Я должен навестить друга, который живет в садах за Лонг Акром. Прощайте, счастливого пути!

С этими словами он выпрыгнул из экипажа и зашагал бодро, как молодой человек.

--Сколько, по-вашему, ему лет?--спросил я Дика, когда старик скрылся из виду.

Несомненно, он был очень стар, но казался крепким и стойким, как древний дуб. Таких стариков я не привык встречать.

--Пожалуй, лет девяносто,--сказал Дик.

--Как долговечны у вас люди!--заметил я.

--Да,--ответил Дик,--конечно, мы превзошли семидесятилетний предел, установленный в книге притчей. Но эта книга написана в Сирии, жаркой, сухой стране, где люди проходят жизненный путь быстрее, чем в нашем умеренном климате. Однако я думаю, никакие сроки не имеют значения, пока человек здоров и счастлив тем, что он жив. А теперь, гость, мы находимся уже близко к дому моего родича, так что остальные вопросы вам лучше прибегать для него.

Я кивнул в знак согласия. Мы повернули влево и начали спускаться по пологому склону между двумя роскошными садами, где благоухали розы. Здесь когда-то пролегалла улица, называемая Эндел-стрит. Подвигаясь вперед, Дик на минуту придержал лошадь, когда мы пересекли длинную и прямую улицу с редко разбросанными домами и, показав рукой вправо и влево, пояснил:

--В ту сторону идет Холборн, а в эту--Оксфорд-роуд. Здесь когда-то была важная часть густонаселенного города, разросшегося за пределы старого римского и средневекового поселения. Многие средневековые феодалы, говорят, владели большими особняками по обеим сторонам Холборна. Вы помните дом епископа Иле, упомянутый в пьесе Шекспира «Ричард Третий»? До сих пор сохранились развалины этого дома. Однако дорога теперь, когда от древнего города с его валами ничего не осталось, уже не играет своей прежней роли.

Мы поехали дальше, и я слегка улыбнулся при мысли о том, какое ничтожное значение имеет девятнадцатый век, о котором было сказано столько громких слов, в глазах человека, читавшего Шекспира и не забывшего Средние века. Мы пересекли дорогу и попали в узкую улочку между садами, а затем опять на широкую проезжую дорогу. По одну сторону ее я увидел длинное здание, отвернувшееся фасадом от дороги. Здесь, по-видимому, находилось какое-то общественное учреждение. По другую сторону дороги зеленел ничем не огражденный парк. И сквозь деревья я увидел портик с колоннами. Как хорошо я его знал! Я точно встретил старого друга, ведь это был Британский музей. У меня захватило дух, когда я вдруг увидел его среди окружавшей меня чуждой обстановки. Но я молчал, предоставив говорить Дику.

--Вот Британский музей, где мой прадед живет большую часть времени,--сказал он.--Поэтому о нем я не буду много говорить. Здание налево--Музейный рынок, и я думаю, нам следует заглянуть туда: Среброкудрая, наверно, не прочь отдохнуть и подкрепиться овсом,--ведь вы, вероятно, проведете весь день у моего прадеда. Признаюсь, мне надо кое-кого здесь повидать, и у нас будет довольно долгий разговор.

Он покраснел и вздохнул. Мне показалось, что он не ждет большой радости от этого свидания.

Мы проехали под аркой и очутились на громадном четырехугольном мощеном дворе. По углам его росли большие клены, а посредине бил фонтан. Вблизи фонтана расположилось несколько ларьков с тентами из яркого полосатого холста. Перед ларьками прогуливались женщины и дети, осматривая выставленные товары. Вдоль нижнего этажа здания, во дворе которого мы находились, тянулась крытая галерея, своеобразным и величественным стилем которой я не мог вдоволь налюбоваться. В галерее народа было немного: одни прохаживались, другие, сидя на скамейках, читали.

--Здесь, сегодня, как и повсюду, довольно малоллюдно,--сказал Дик, как бы извиняясь.--А вот по пятницам рынок битком набит и под вечер у фонтана играет музыка. А впрочем, думаю, и сегодня будет большое скопление народа в обеденное время.

Мы пересекли двор, проехали под сводчатыми воротами и оказались у большой красивой конюшни, где быстро устроили нашу старую лошадку, обеспечив ее хорошим кормом. Когда мы возвращались через рынок, мне показалось, что Дик чем-то озабочен. Я заметил, что люди строго разглядывают меня, и, сравнивая их одежду с моей, я этому не удивлялся. Однако, встречаясь со мной взглядом, они мне дружески кланялись.

Мы направились прямо к музею. Здесь не было старой ограды, кругом шелестела зеленая листва, но в остальном все осталось по-прежнему. Как и в старину, голуби кружились над крышей и садились на

украшения фронтона. Дик казался немного рассеянным, но все же не удержался от замечания по поводу архитектуры музея.

--Не правда ли, довольно безобразное здание? Его хотели снести и построить новое. Возможно, это и случится, если будет мало другой работы. Но мой прадед скажет вам, что это было бы не очень разумным предприятием, потому что в музее удивительные коллекции всякого рода древностей, а кроме того, огромная библиотека с множеством замечательных книг. Некоторые из них ценны как памятники прошлого. Есть много древних рукописей и тому подобных сокровищ. Сдвинуть их с места было бы очень рискованно, и это соображение пока спасало само здание. Кроме того, как я уже говорил, не плохо иметь образец того, что наши предки считали красивым. На это строение затрачено много материалов и труда.

--Я это знаю,--сказал я,--и вполне с вами согласен. Но не следует ли нам поторопиться к вашему прадеду!

Действительно, я не мог не заметить, что Дик нарочно медлит.

--Хорошо, мы сейчас пойдем к нему,--ответил он.--Прадед слишком стар, чтобы много работать в музее, где он долгие годы был одним из хранителей библиотеки. Но он по-прежнему живет здесь. Мне кажется,--добавил он, улыбаясь,--что старик считает себя частью библиотечного фонда.

Дик помедлил еще немного, потом, неожиданно покраснев, взял меня за руку и со словами «ну, пошли!» повел меня к двери одного из старых жилых домов при музее.

## *Глава IX* **О ЛЮБВИ**

--Ваш родственник, по-видимому, не особенный любитель красивых зданий,--сказал я, когда мы входили в сумрачный дом классического стиля.

Комнаты были совершенно пусты, только кое-где их украшали большие кадки с цветами. Все было чисто, стены--тщательно выбелены.

--Я, право, не знаю,--рассеянно сказал Дик,--прадед становится стар, ему более ста пяти лет, и, конечно, ему не хочется переезжать. Он мог бы жить в более красивом доме, если бы пожелал. Как и все другие, он не обязан постоянно жить на одном месте. Прошу сюда, гость!

С этими словами Дик провел меня наверх. Открыв дверь, мы очутились в довольно большой комнате, такой же простой, как и весь дом. Здесь была необходимая мебель, довольно грубая, но прочная, украшенная резным рисунком, не особенно тщательно выполненным. В дальнем углу комнаты, за письменным столом у окна, в большом мягком кресле сидел старичок. На нем была сильно поношенная широкая синяя куртка с поясом, такие же панталоны и теплые серые чулки. Он вскочил с места и голосом, очень звучным для такого старика, воскликнул:

--Здравствуй, Дик, дорогой! Клара здесь и будет счастлива тебя видеть. Радуйся!

--Клара здесь?--переспросил Дик.--Если бы я знал, я бы не привел... во всяком случае, я думаю, я бы...

Он запнулся в смущении, видимо опасаясь, как бы я не почувствовал себя лишним. Но старик, который не сразу заметил меня, выручил его и, сделав несколько шагов мне навстречу, ласково заговорил:

--Прошу вас извинить меня. Дик такой огромный, что всякого заслонит, и я сразу не увидел, что он привел ко мне своего друга. Сердечный привет вам, и, надеюсь, вы развлечете старика вестями из-за моря, так как я вижу, что вы прибыли из дальних стран.--Он посмотрел на меня задумчиво, даже озабоченно.--Смею ли спросить вас, откуда вы?--изменившимся голосом сказал он.--Ведь ясно, что вы чужеземец!

--Когда-то я жил в Англии,--уклончиво ответил я,--а теперь вернулся и сегодня ночевал в хэммерсмитском Доме для гостей.

Он вежливо поклонился, но казался немного разочарованным моим ответом. Что же касается меня, то я смотрел на него пристальнее, чем разрешается благовоспитанному человеку, потому что лицо его, похожее на печеное яблоко, показалось мне необычайно знакомым, будто я видел его где-то раньше, может быть даже в зеркале, сказал я себе.

--Откуда бы вы ни приехали,--промолвил старик,--вы здесь среди друзей, и по выражению лица моего правнука Ричарда Хаммонда я вижу, что он привез вас ко мне, чтобы я мог быть вам чем-либо полезным Верно, Дик?

Дик, который все меньше прислушивался к разговору и беспокойно поглядывал на дверь, ответил:

--Да, это так. Наш гость находит, что многое теперь очень изменилось, и не может всего понять, а я не могу ему объяснить. Потому то я и надумал привезти его к вам. Вы знаете больше кого-либо другого, что произошло за последние двести лет... Кто там?

И он снова повернулся к двери. Мы услышали снаружи шаги, дверь отворилась, и вошла очень красивая молодая женщина. При виде Дика она остановилась на пороге, вспыхнула, как роза, и тем не менее посмотрела ему прямо в глаза. Дик глядел на нее в упор, нерешительно протянув руку, и все лицо его выражало необыкновенное волнение. Прадед поспешил вывести их из замешательства и с веселой старческой улыбкой сказал:

--Дик, мой мальчик, и моя милая Клара, мне кажется, что мы, старики, мешаем вам. Я понимаю, что вам многое нужно сказать друг другу. Пойдите-ка наверх в комнату Нельсона,--он куда-то ушел. Стены его комнаты теперь уставлены сверху донизу средневековыми книгами, и они послужат приятным фоном для вас и для вашего возрождающегося счастья.

Девушка взяла Дика за руку и увела из комнаты, глядя прямо перед собой, но легко было понять, что покраснела она от счастья, а не от досады, ибо любовь застенчивее, чем гнев.

Когда дверь за ними закрылась, старик повернулся ко мне, продолжая улыбаться:

--По правде сказать, дорогой гость, вы окажете мне огромную услугу, если, как говорится, развяжете мне язык. Моя любовь к разговорам не покидает меня, скорее даже растет, и хотя мне отраднее любоваться этими молодыми людьми и их любовной игрой, которую они ведут так серьезно, как если бы судьбы мира зависели от их поцелуев (а ведь это иногда так и бывает), все же я не думаю, чтобы мои рассказы о прошлом могли быть им интересны. Последний урожай, рождение последнего ребенка, последний завиток, сделанный рукою резчика--все это для них представляет историю. Когда я был молод, дело обстояло иначе, потому что тогда не было подобной уверенности в мире и постоянном благоденствии, как теперь. Итак, не желая подвергать вас допросу, я позволю себе все же спросить вас об одном: должен ли я смотреть на вас как на исследователя, который хоть немного осведомлен о нашей современной жизни, или как на человека, приехавшего из страны, где сами основы жизни не имеют ничего общего с нашими? Знаете ли вы что-нибудь о нас?

Он внимательно посмотрел на меня с растущим недоумением, и я тихо ответил ему:

--Я лишь настолько знаю вашу современную жизнь, насколько мог охватить ее взором по пути из Хэммерсмита сюда, а также по ответам Ричарда на мои вопросы, большинство которых он с трудом понимал.

Старик улыбнулся на это и сказал:

--Тогда я буду говорить с вами так, как если бы вы были...

--...с другой планеты,--докончил я.

Старик, который так же, как Дик, носил имя Хаммонд, снова улыбнулся и, повернувшись, предложил мне массивное дубовое кресло. Заметив мой взгляд, остановившийся на резьбе этого кресла, он промолвил:

--Да, я очень привязан к прошлому, моему прошлому,--подчеркнул он.--Эта мебель приобретена еще до моего рождения, ее заказывал мой отец. Если бы эти вещи были сделаны за последние пятьдесят лет, конечно, работа была бы более искусной. Но я не думаю, чтобы тогда я любил их больше. Мы как бы начинали жизнь сначала, это было время горячих голов и быстрых решений... Но я опять заболтался. Спрашивайте меня, спрашивайте, о чем хотите, дорогой гость! Раз уж я не могу не говорить, пусть моя болтовня пойдет вам на пользу.

Я помолчал и потом, немного волнуясь, сказал:

--Простите меня, я, может быть, покажусь вам нескромным, но меня очень интересует Ричард: он был так внимателен ко мне, совершенно чужому человеку, и я хотел бы задать вам вопрос, касающийся его.

--Но если бы он не был внимателен к вам, совершенно чужому человеку,--сказал старик,--это было бы по меньшей мере странно. Люди имели бы основание избегать его. Спрашивайте, спрашивайте, не стесняйтесь!

--Эта красивая девушка...--нерешительно начал я,--он женится на ней?..

--Да,--сказал старик,--собирается. Они уже были женаты, и мне ясно, что они поженятся опять.

--Как так?--спросил я, не понимая его.

--Сейчас я расскажу вам всю историю,--произнес старый Хаммонд,--она довольно проста и, надеюсь, кончится счастливо. В первый раз они жили вместе два года--оба были тогда еще очень молоды. Потом ей взбрело в голову, что она влюблена в другого, и она бросила бедного Дика. Я говорю, «бедного» потому, что он не встретил новой подруги. Это продолжалось недолго--около года. Потом Клара пришла ко мне, так как привыкла обращаться со своими огорчениями к старому деду, и спросила меня, как поживает Дик, счастлив ли он, и все такое. Я понял, куда ветер дует, и сказал, что он очень несчастлив и нездоров. Последнее не было правдой. Об остальном вы можете догадаться. Сегодня Клара пришла ко мне для серьезного разговора, но думаю, что Дик будет ей лучшим собеседником, чем я. Если бы он случайно не заглянул ко мне сегодня, я завтра послал бы за ним.

--А дети у них есть?--спросил я.

--Да, двое,--ответил старик.--Они сейчас у одной из моих дочерей, у которой живет Клара. Я не хотел терять ее из виду, так как был уверен, что она опять сойдется с Диком, который действительно добрейший

малый и принял все это очень близко к сердцу. У него ведь не было никого, кто бы его пригрел. И вот я все устроил, как случилось не раз в подобных случаях.

--Ах, вы, конечно, хотели, чтобы они избежали бракоразводного суда! Наверно, семенные отношения часто улаживаются через его посредство?

--Вы глубоко ошибаетесь! Я знаю, что раньше было такое сумасшедшее учреждение, как суд, занимавшееся делами о разводе. Однако все подобные дела бывали вызваны ссорами из-за собственности. А теперь, я думаю, дорогой гость,--прибавил он, улыбаясь,--хотя вы и приехали с другой планеты, все-таки, даже бегло окинув взглядом наш мир, вы могли убедиться, что среди нас не может быть ссор из-за частной собственности.

И в самом деле, мое путешествие из Хэммерсмита в Блумсбери и вся та спокойная, счастливая жизнь, которую я мог наблюдать, даже пример моей покупки,--все это показывало мне, что священное, как мы привыкли считать, право собственности больше не существует. Я сидел молча, а старик продолжал:

--Итак, ссоры из-за собственности теперь невозможны. Что же остается в этой области для деятельности суда? Вообразите себе суд, заставляющий выполнять договоры о страсти или чувстве! Если бы требовалось доказать нелепость принуждения по брачным договорам, такой суд мог бы существовать как *reductio ad absurdum*<sup>1</sup>.

Он снова помолчал и сказал:

--Поймите раз и навсегда, что мы все это изменили. Вернее, изменились наши взгляды на подобные вещи, изменились и мы сами за последние двести лет. Мы не обманываем себя и не считаем, что можем избавиться от всех бед, связанных с отношениями полов. Мы знаем, что нельзя предотвратить несчастья мужчин и женщин, не умеющих отличить страсть и любовь от дружбы, способной смягчать боль при пробуждении от кратковременных иллюзий. Но мы не настолько безумны, чтобы усугублять свое несчастье, затеявая отвратительные дразги из-за средств к жизни или права тиранить детей, которые явились плодами любви или сладострастия.

Он опять замолк, а затем продолжал:

--Ребяческая любовь, принимаемая за гордое чувство «до гробовой доски», быстро испаряется и сменяется разочарованием. Мужчину более зрелых лет часто охватывает необъяснимое желание быть всем на свете для какой-нибудь женщины, чьи самые обыкновенные душевные качества и внешность он идеализирует до сверхчеловеческого совершенства, делая ее единственным предметом своих мечтаний. Возьмем наконец разумное стремление сильного, здравомыслящего человека сблизиться с красивой и умной женщиной. Она для него непревзойденное воплощение физической и духовной красоты. Испытав в наших любовных переживаниях все наслаждения и восторженный полет духа, мы покорно несем печали, нередко сопровождающие любовь. Вспомним строки древнего поэта (я привожу по памяти один из переводов девятнадцатого века):

Затем так часто боги терзают горем нас,

Чтобы потом слагали мы песню и рассказ.

Да, трудно ожидать, чтобы все горести исцелялись и не рождали песен.

Он замолчал, и я не хотел прерывать его молчания. Наконец он заговорил снова:

--Но вы должны знать, что мы сильны, здоровы телом и живем легкой жизнью. Мы проводим ее в разумной борьбе с природой, развивая не одну сторону своей натуры, а все ее стороны, и с величайшим удовольствием участвуем в жизни всего мира. Для нас вопрос чести--не ставить себя в центр жизни и не воображать, что мир перестанет существовать оттого, что страдает один человек. Поэтому мы сочли бы за безумие, за преступление, если хотите, всякую сентиментальность и преувеличение страданий, связанных с нашими чувствами. Мы столь же не склонны выставлять напоказ наши горести, как и нянчиться с физической болью, и признаем, что существуют другие радости, кроме любви. Помните, что мы все долговечны, и поэтому красота мужчин и женщин не так мимолетна, как в те дни, когда мы были отягчены болезнями, которые сами себе причиняли. Итак, мы стряхиваем с себя все эти беды, становясь на такую точку зрения, которую сентименталисты других времен, может быть, сочли бы не героической, а скорее презренной, но мы признали ее необходимой и мужественной. С другой стороны, мы освободили любовь от вмешательства коммерции. И еще мы перестали нарочно выставлять себя дураками. Глупое увлечение, рождающееся естественно, как безрассудство незрелого молодого человека или даже более зрелого мужчины, попавшегося в ловушку... с этим мы должны мириться и даже без особенного стыда, но руководствоваться в своих чувствах какими-то условными правилами или разыгрывать сентиментальную роль... Друг мой, я стар и, может быть,

---

<sup>1</sup> Приведение к нелепости (*lam*).

разочарован в жизни, но все-таки я думаю, что мы покончили со многими подобными глупостями старого мира.

Он остановился, как бы для того, чтобы дать мне возможность вставить слово, но я молчал, и он продолжал:

--Во всяком случае, если мы и страдаем от тирании и изменчивости нашей природы или отсутствия личного опыта, мы не строим кислых физиономий и не лжем. Если происходит разрыв между теми, кто думал, что никогда не разлучится, значит, так и должно быть. И нет надобности в притворном единстве, когда сама основа его пропала. Мы не заставляем также заявлять о своем неувядающем чувстве тех, кто его вовсе не испытывает. Поэтому исчезла такая чудовищная мерзость, как продажное наслаждение. В нем нет надобности. Не поймите меня превратно. Вы не казались возмущенным, когда я сказал, что больше нет суда, заставляющего выполнять договор о чувстве или страсти. Но люди устроены так прихотливо, что вы же, может быть, возмутитесь, если я скажу вам, что больше нет и кодекса общественного мнения, заменяющего такой суд и столь деспотичного и неразумного. Я не говорю, что люди не осуждают--и часто несправедливо--поведение своих соседей. Но я говорю, что не стало незыблемых моральных правил, по которым судили бы людей. Нет прокрустова ложа, чтобы вытягивать или стискивать их умы и поступки. Нет лицемерного отлучения, которое люди вынуждены были произносить либо по привычке, либо из страха перед безмолвной угрозой такого же отлучения, в случае недостаточного лицемерия. Ну, теперь вы возмущены?

--Нет, нет,--с некоторой неуверенностью ответил я,--все так изменилось!

--Во всяком случае,--сказал старик,--одно я могу утверждать: если теперь возникают чувства, то они настоящие и присущи всем вообще, а не ограничиваются людьми исключительно утонченными. Равным образом, я убежден, что ни мужчины, ни женщины больше так не страдают от всех подобных переживаний, как в былое время. Но простите, что я так многословно распространялся по этому вопросу, вы ведь сами хотели, чтобы я говорил с вами, как с жителем другой планеты.

--Конечно, и я вам очень благодарен,--промолвил я.--Теперь я хотел бы спросить о положении женщины в вашем обществе.

Он рассмеялся от всей души, как молодой человек, и сказал:

--Недаром заслужил я репутацию очень кропотливого исследователя истории: мне кажется, я действительно понимаю движение за эмансипацию женщин в девятнадцатом веке и сомневаюсь, чтобы кто-нибудь другой из живущих в настоящее время знал это лучше меня.

--Как так?--спросил я, немного задетый его веселостью.

--Да так,--сказал он--Вы сами убедитесь, что все споры об этом давно угасли. Мужчины больше не могут порабощать женщин, равно как и женщины--мужчин. Все это дела минувших дней. Женщины делают то, что они умеют хорошо делать и к чему они склонны, и мужчин это нисколько не оскорбляет. Однако все это такие общие места, что я почти что стыжусь на них ссылаться.

--Принимают ли женщины участие в законодательстве?--спросил я.

Хаммонд улыбнулся.

--Повремените с этим вопросом,--ответил он,--пока мы не дойдем до темы законодательства: для вас и здесь могут быть неожиданности.

--Очень хорошо,--сказал я,--но еще два слова по женскому вопросу. В Доме для гостей женщины прислуживают мужчинам. Это представляется мне несколько отсталым.

--Вот как?--возразил старик.--Может быть, вы считаете работу по хозяйству занятием незначительным и не заслуживающим уважения? Кажется, таково было мнение «передовых» женщин девятнадцатого века и тех мужчин, которые их поддерживали. Если и вы разделяете такое мнение, я напомню вам одну норвежскую народную сказку под названием «Как мужик правил домом». Результат этого «правления» был таков, что после многих передряг хозяин и корова повисли на двух концах веревки. Хозяин был втянут в печную трубу, а корова болталась в воздухе, свалившись с крыши, которая по деревенскому обычаю была покрыта дерном и спускалась почти до земли. Жаль бедную корову! Но, конечно, подобной беды не может приключиться с таким утонченным человеком, как вы--с лукавой усмешкой добавил он.

Я молчал, сконфуженный этой шуткой. Но его подход к последней проблеме показался мне несолидным.

--Итак, друг мой,--продолжал он,--разве вы не знаете, что для умной женщины великое удовольствие--искусно вести дом, так вести его, чтобы все домочадцы смотрели на нее с радостью и благодарностью? Вы знаете также, что все любят быть под началом красивой женщины, потому что это одна из самых приятных форм флирта. Вы не так стары, чтобы этого не помнить, я и то помню!

И старый весельчак снова усмехнулся, а потом громко расхохотался.

--Простите меня,--сказал он немного спустя,--я смеюсь совсем не над вами, а над глупым образом мыслей девятнадцатого века, свойственным богатым или так называемым культурным людям, которые, занимаясь высокими материями, не имели даже понятия о том, как, собственно, готовится их обед: это казалось им слишком низменным для их возвышенных умов. Глупые, никчемные люди! А вот я, литератор, как обычно называют нашу странную породу, и это не мешает мне быть хорошим поваром.

--Я тоже хороший повар!--заметил я.

--Ну что ж,--продолжал он,--тогда, я думаю, вы лучше поймете меня, чем я мог бы предполагать, судя по вашим словам и вашему молчанию.

--Может быть, и так,--сказал я,--но люди, проявляющие особенный интерес к обыденным житейским занятиям, все-таки удивляют меня. Я задам вам по этому поводу несколько вопросов, но я хотел бы сначала вернуться к положению женщин в вашем обществе. Вы изучали проблемы, связанные с женской эмансипацией в девятнадцатом веке. Помните ли вы, что некоторые «передовые» женщины хотели освободить наиболее просвещенных своих соотечественников от деторождения?

Старик стал вдруг очень серьезным и сказал:

--Я помню эту странную нежизненную выдумку. Как и другие подобные безумства того времени, она была результатом отвратительной классовой тирании. Вы хотите знать, друг мой, что мы думаем об этом теперь? На это легко ответить. Само собой разумеется, материнство у нас высоко почитается. Естественные и неизбежные муки, через которые проходит роженица, скрепляют союз между женщиной и мужчиной и создают между ними новый стимул любви и привязанности. Это всеми признано. Что же касается остального, помните, что все искусственные тяготы материнства устранены. Мать больше не питает тревоги за будущность своих детей. Конечно, они могут вырасти лучшими или худшими, могут обмануть ее надежды; подобные опасения входят в ту совокупность радостей и печалей, которые составляют человеческую жизнь. Но по крайней мере мать свободна от страха (а иногда и уверенности), что подлые предрассудки сделают ее детей неравноправными с другими мужчинами и женщинами. В минувшее время общество, с помощью своего иудейского бога и некоторых людей науки, возлагало грехи отцов на детей. Как изменить ход этого процесса, как вырвать жало наследственности? Это долго было предметом постоянных забот наиболее умных людей среди нас. Теперь перед вами здоровая женщина (почти все наши женщины здоровы и по меньшей мере милостивы), женщина, уважаемая как мать и воспитательница детей, желанная как любовница и ценимая как друг и товарищ. В ней, свободной от заботы о будущем своих детей, инстинкт материнства развит гораздо сильнее, чем у бедных тружениц прошлого или их сестер из привилегированных классов, воспитанных в притворном неведении реальной жизни, в атмосфере жеманства и сладострастия.

--Вы говорите горячо, и я вижу, что вы правы,--сказал я.

--Да,--промолвил он,--и я укажу вам пример тех благ, которые принесла нам свобода. Что вы думаете о внешности встречавшихся вам сегодня людей?

--Я с трудом поверил бы,--сказал я,--что в цивилизованной стране может быть столько красивых людей. Он слегка крикнул, как старая птица.

--Как, разве мы еще цивилизованны?!--спросил он.--Что касается нашей внешности, то здесь преобладала кровь англов и ютов, не отличавшихся особой красотой. Но мне кажется все же, что мы стали более благообразны. Я знаю человека, у которого есть большая коллекция портретов, перепечатанных с фотографий девятнадцатого века. Рассматривая лица на этих портретах и сравнивая их с лицами обыкновенных людей в наши дни, убеждаешься, что наш тип, несомненно, улучшился. В настоящее время многие не считают фантастичным ставить этот расцвет красоты в непосредственную связь с нашей свободой и здравомыслием в вопросах, которых мы с вами уже касались. Эти люди находят, что ребенок, рожденный как плод естественной и здоровой любви, даже если она преходяща, должен во всех отношениях, особенно в отношении физической красоты, выгодно отличаться от ребенка, рожденного в лоне почтенного коммерческого брака или среди безнадежной нищеты рабов прежнего строя. Говорят, радость рождает радость. Как по-вашему?

--Я согласен с этим,--был мой ответ.

## *Глава X* **ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ**

--Ну что ж,--сказал старик, переменяв положение в кресле,--задавайте новые вопросы, гость; на первый я ответил довольно обстоятельно.

Я сказал:

--Я хотел бы услышать о ваших взглядах на воспитание. Со слов Дика я понял, что ваши дети бегают без всякого присмотра и что вы ничему их не учите. Короче говоря, что вы довели воспитание до такой утонченности, что от него ничего не осталось.

--Значит, вы поняли все наоборот,--сказал старик.--Конечно, мне ясен ваш взгляд на воспитание: это взгляд минувших времен, когда «борьба за существование», как тогда говорилось (то есть борьба раба за похлебку, с одной стороны, и богача за жирный кусок рабовладельческих привилегий--с другой), сводила «воспитание» для большинства людей к скудному набору не очень точных сведений, которые необходимо было поглотить всякому начинавшему жизненный путь. Ребенка не спрашивали, нравится это ему или нет, хочет он или не хочет учиться. Все разжевывалось и пережевывалось людьми равнодушными и лишь обязанными преподносить знания людям, тоже ими не интересующимся.

Я рассмеялся, чтобы успокоить нараставшее возмущение старика, и сказал:

--Вас-то, наверно, учили не таким способом. Поэтому вы можете немного умерить свой гнев.

--Правда, правда,--сказал он, улыбаясь,--благодарю вас за то, что вы указали мне на мою горячность. Мне всегда кажется, что я живу в ту эпоху, о которой беседую. Однако, говоря хладнокровно, вы ожидали, что детей, когда они достигают возраста, признанного разумным, упрятывают в школы, независимо от их наклонностей и способностей. Тут они проходят установленный курс «обучения», с полным пренебрежением к действительным фактам. Друг мой, неужели вы не видите, что при этом не считаются с физическим и духовным ростом ребенка? Так было, и никто не мог выйти невредимым из этой мукомольни. Только те, в ком жил дух протеста, избегали опасности быть ею раздавленными. К счастью, большинство детей во все времена обладало духом протеста, иначе я не знаю, как мы достигли бы настоящего положения вещей. Теперь вы видите, к чему сводится дело. В прошлое время плохая постановка образования была результатом бедности. В девятнадцатом веке общество было нищенски бедно из-за систематического грабительства, на котором оно было основано. Подлинное образование никому не было доступно. Теория так называемого «образования» была такова: нужно впихнуть в голову ребенка самые необходимые сведения, хотя бы путем пытки и елейной болтовни, иначе он на всю жизнь останется невеждой. Нужда заставляла спешить. Все это в прошлом, нас больше никто не торопит, и знания лежат наготове, в распоряжении каждого, кто почувствовал тягу к ним. В этом отношении, как и во многих других, мы теперь богаты: мы можем позволить себе расти не спеша.

--Хорошо,--сказал я,--но представьте себе ребенка, юношу, мужчину, который не стремится к знанию и не развивается в желательном для вас направлении. Представьте себе, например, что он не хочет учиться арифметике или другим разделам математики. Поздно заставлять его, если он уже взрослый. Разве не следует принудить его, пока он растет и должен приобретать знания?

--Так-так!--сказал старик--А вас принуждали изучать арифметику или алгебру?

--Да, некоторое принуждение было,--ответил я.

--А сколько вам сейчас лет?

--Почти пятьдесят шесть,--сказал я.

--И как хорошо вы знаете математику теперь?--насмешливо улыбаясь, спросил Хаммонд-старший.

--С грустью должен признаться,--промолвил я,--что я все позабыл.

Хаммонд спокойно улыбался, но ничего не добавил к моим словам. Я же решил оставить в покое вопрос о воспитании, видя, что со стариком об этом не стоит говорить.

Подумав немного, я завел разговор о другом.

--Вы только что упоминали о домашнем хозяйстве. Мне кажется, слова «хозяйство», «домашний очаг» должны звучать для вас пережитком старины. Я скорее предположил бы, что вы живете теперь общинами.

--Фаланстеры, а?--перебил он меня.--Мы живем, как нам нравится,--обычно с людьми, к которым мы привыкли. Поймите, что бедность исчезла. Фаланстеры Фурье представлялись естественными в свое время, но они были всего-навсего убежищами от крайней нужды. Такой образ жизни мог быть придуман только людьми, подавленными жесточайшей нищетой. Поймите, что хотя мы живем отдельными домами и уклад каждого дома разнится один от другого, ни одна дверь теперь не закрыта для всякого доброго человека, который согласен жить, как установлено в данном доме. Конечно, неразумно было бы одинокому человеку вторгаться в чей-либо дом и заставлять обитателей его изменять своим привычкам ради него, когда он легко может поселиться где-нибудь в другом месте, более подходящем к его вкусам. Впрочем, мне не стоит об этом долго распространяться,--вы с Диком собираетесь ехать вверх по реке, так что убедитесь на опыте, как обстоит дело.

После короткого молчания я сказал:

--Поговорим теперь о ваших больших городах. Что вы скажете о них? Лондон, о котором... о котором я читал как о современном Вавилоне, кажется, уже исчез.

--Ну, как сказать!--возразил старик.--Может быть, он теперь больше похож на древний Вавилон, чем «новый Вавилон» девятнадцатого века. Но оставим прошлое. Во всяком случае, на всем протяжении от Хэммерсмита до здешних мест живет не мало народу. К тому же, вы еще не видели самой многолюдной части города.

--Расскажите мне,--продолжал я,--каков теперь восточный Лондон?

--Было время,--заговорил старик,--когда, сев у моих дверей на хорошую лошадь и проскакав полтора часа, вы все еще оставались в самом Лондоне, причем большая часть вашего пути пролегла по трущобам, то есть по кварталам, где изнывали от ужасных условий жизни ни в чем не повинные люди. Здесь они прозябали в таком унижении, что даже их непрерывная пытка казалась им самым обыкновенным и естественным существованием.

--Знаю, знаю,--нетерпеливо перебил я его.--Что было, то прошло. Расскажите о том, что есть теперь. Осталось ли что-нибудь от прежнего?

--Ни следа,--ответил он.--Но кое-что сохранилось у нас в памяти, и я этому рад. Раз в год, в «Майский день», мы устраиваем в восточной части города торжественный праздник в память «уничтожения нищеты». В этот день там, где прежде были глухие и грязные трущобы, происходят танцы, веселые игры и пирушки. Во время праздника самая красивая девушка поет старые революционные песни и те песни, что были стоном бедняков. Их пели когда-то люди, потерявшие всякую надежду на будущее, пели на тех же самых местах, где день за днем в течение долгих лет совершалось ужасное преступление--классовое убийство. Я, человек, прилежно изучавший прошлое, всегда с волнением смотрю, как красивая девушка, нарядно одетая, увенчанная цветами с соседних лугов, поет среди счастливого народа, стоя на том месте, где когда-то высилось жалкое подобие дома, вертеп, в котором люди, теснясь, как сардины в банке, вели такую жизнь, что только привычка помогала им ее выносить. Вспоминая об этом, радостно слушать слова угроз и жалоб, слетающие с прекрасных и нежных уст девушки и произносимые без сознания их настоящего смысла, например: песню Гуда о рубашке. Радостно думать, что девушка не понимает, какая трагедия развивается в песне, трагедия, чуждая исполнительнице и слушателям. Представьте себе это и подумайте, насколько счастливее теперь жизнь!

--Да,--сказал я,--мне трудно себе это представить.

Я сидел и смотрел, как разгорались глаза Хаммонда, словно новая жизнь играла на его лице. Меня удивляло, как в свои лета он может думать о счастье вселенной и вообще о чем-либо, кроме обеда.

--Расскажите мне подробно,--попросил я,--что теперь находится к востоку от Блумсбери.

--Между этой частью и восточной окраиной старого города домов мало,--начал он.--Но в Сити у нас очень густое население. Во время первой расчистки трущоб наши предки не торопились сносить дома в «деловом квартале», как он назывался в девятнадцатом веке. Впоследствии этот квартал был известен под названием «квартала мошенников». Дома там, хотя и жавшиеся друг к другу, были просторны, отличались солидной постройкой и чистотой, так как служили не для жилья, а только как притоны для азартных спекуляций. Поэтому бедняки из уничтоженных трущоб переселялись в эти дома, пока для них не находили лучших жилищ. Эти здания сносились исподволь, и люди привыкли жить здесь более тесно, чем где-либо в других местах. Вот почему эта часть города до сих пор остается самой населенной частью Лондона и, может быть, всех британских островов.

Там очень красиво благодаря великолепию архитектуры, более богатой, чем во всем остальном городе. Впрочем, эта «теснота», если можно так выразиться, не распространяется дальше улицы Элдгейт--ее название вы, вероятно, раньше слышали. За этой улицей дома разбросаны редко среди чудесных лугов. Местность становится особенно красивой, когда вы доберетесь до прелестной речки Ли (где старый Исаак Уолтон имел обыкновение удить рыбу). Оттуда близко до Стрэтфорда и Олдфорда, имена которых вам, вероятно, незнакомы, хотя когда-то там хозяйничали римляне.

«Я ли не слышал о них!--подумал я.--Как странно, что я, видевший, как исчезали последние следы этих прекрасных лугов, вдруг снова услышал о возрождении их былой красоты».

--Спустившись к Темзе,--продолжал Хаммонд,--вы достигнете доков, которые были сооружены в девятнадцатом веке и служат до сих пор, но не так перегружены, как раньше, потому что мы решительно против централизации и давно отбросили претензию быть рынком для всего мира. Вокруг доков есть дома, их немного, в которых люди редко живут постоянно. Я хочу сказать, что там живут только проездом, потому что местность слишком низменная, болотиста и малопривлекательна для длительного пребывания. К востоку от доков и в глубь страны тянутся пастбища (бывшие болота), кое-где попадаются сады. Постоянные жилища встречаются там тоже редко: кое-где--хижины или шалаши для пастухов, стерегущих огромные стада. Как чудесно прокатиться солнечным осенним утром верхом на смиренной лошадке, полюбоваться стадами и

мирным трудом людей, красными черепичными крышами и огромными стогами, рекой, со скользящими по ней вверх и вниз судами, потом проехать к Шутерс-хиллу и Кентской возвышенности и свернуть на широкую, как зеленое море, Эссекскую равнину. Над головой--гигантский купол неба, и солнце безмятежно льет потоки света на все это необозримое пространство. Там есть поселки Кэннингтаун и дальше Сильвертаун, где дуга особенно хороши. А когда-то в тех местах были отвратительные трущобы.

Названия эти раздражали мой слух, но я не мог объяснить причину этого старику и только спросил:

--А какова местность к югу от реки?

--Там вы найдете почти такой же пейзаж, как около Хэммерсмита. А вот к северу идут более возвышенные места, и там лежит приятный, хорошо распланированный городок Хэмстед, который живописно заканчивает Лондон с той стороны. Он граничит с северо-западной частью леса, через который вы проезжали.

--Ну, что ж,--улыбнулся я.--Меня удовлетворяют эти сведения о Лондоне! Теперь расскажите мне о других городах страны.

Старик сказал:

--Что касается больших мрачных городов, которые были когда-то промышленными центрами, они исчезли, как и лондонская пустыня из кирпича и известки. Но так как они были всего лишь центрами промышленности и, следовательно, не служили ничему иному, как только спекуляциям на денежном рынке, они оставили меньше следов своего существования, чем Лондон. Конечно, это исчезновение было облегчено великим прогрессом в использовании механической энергии. Впрочем, упадок этих центров, вероятно, должен был наступить независимо от коренного изменения нашего образа жизни: терпеть их такими, какими они были тогда, стало невозможно, и, чтобы избавиться от этих «промышленных кругов», как их в свое время называли, никакая жертва не казалась чрезмерной. Теперь уголь и руды, в которых мы нуждаемся, поднимают на поверхность земли и доставляют куда нужно при минимальном количестве грязи, хлопот и беспокойства для людей. Из прочитанного об условиях жизни в этих округах в девятнадцатом веке легко было бы поверить, что те, кому были подвластны эти люди, намеренно, из злого умысла угнетали их, унижали и обманывали. Но это не так. Подобно плохому образованию, о котором мы только что говорили, и это зло происходило от ужасной нищеты. Люди были принуждены мириться со всем и даже делать вид, что это им нравится, тогда как мы теперь подходим к нашим задачам с меркой разума и не позволяем навязывать нам то, чего мы не желаем.

Признаюсь, мне захотелось прервать вопросом это восхваление времени, в котором он жил, и потому я сказал:

--А что произошло с менее крупными городами? Вероятно, вы совсем стерли их с лица земли.

--Нет, нет,--возразил он.--Дела сложились иначе. Их пришлось лишь немного расчистить и основательно перестроить, пригороды же слились с окружающей местностью. В центре таких городов теперь нет прежней скученности, но это все же города с улицами, площадями и

рынками. Таким образом, эти городки дают нам некоторое представление о том, на что походили города прежнего мира,--я, конечно, имею в виду лучшие из них.

--Например, Оксфорд,--подсказал я.

--Да,--ответил он,--я думаю, что Оксфорд был хорош даже в девятнадцатом веке. Сейчас он очень интересен тем, что сохранил много зданий докапиталистического периода. Это прекрасный город. Но все же есть много других, сравнившихся с ним по красоте.

--Кстати, остался ли Оксфорд до сих пор научным центром?

--Остался ли?--улыбаясь, повторил он за мной.--Оксфорд вернулся к своим лучшим традициям. Это показывает, как далек он от положения, занимаемого им в девятнадцатом веке. Здесь учатся по-настоящему, здесь процветает знание ради знания, «искусство знания», а не зубрежка с коммерческими целями, как это было прежде. Однако, быть может, вы не знаете, что в девятнадцатом веке Оксфорд и его менее интересный брат Кембридж стали чисто капиталистическими центрами. Они, в особенности Оксфорд, были местом разведения особого рода паразитов, которые называли себя людьми высокой культуры. Это были люди, в достаточной мере скептически настроенные, как и все представители образованных классов того времени, но они всячески подчеркивали свой скепсис, чтобы сойти за чрезвычайно знающих людей, разбирающихся в мировых проблемах.

Зажиточный средний класс (который не имел никакого отношения к рабочему классу) обращался с ними со снисходительным высокомерием, как средневековые бароны со своими шутами, хотя, надо признать, они далеко не были так забавны, как прежние шуты. Они

вносили в общество только скуку. Над ними смеялись, их презирали, им платили,--последнего только они и домогались.

«Боже мой,--подумал я,--как склонна история выворачивать наизнанку прежние суждения! Право же, лишь худшие из этих людей были так презренны. Все же я согласен, что большинство образованных людей того времени отличалось самодовольством и было проникнуто коммерческим духом».

И, обращаясь больше к самому себе, чем к Хаммонду, я заметил:

--Как могли они быть лучше создавшего их века?

--Правда,--сказал старик,--но их претензии были выше!

--Разве?--с улыбкой спросил я.

--Вы снова хотите загнать меня в угол. Позвольте мне по крайней мере сказать, что их духовный облик был лишь жалким следствием симпатий Оксфорда к варварству средних веков!

--Да, это многое объясняет,--сказал я.

--Значит, я был в основном прав. Спрашивайте дальше,--продолжал он.

--Мы говорили про Лондон, промышленные округа, мелкие города. А что вы скажете о деревнях?

--Вы, наверное, знаете, что к концу девятнадцатого века от деревень осталось очень мало. Они либо стали простыми придатками к промышленным округам, либо сами образовали мелкие промышленные округа. Дома разрушались, обращаясь в развалины, деревья вырубали ради того, чтобы выручить несколько шиллингов за дрова. Деревня опустилась до невыразимой бедности и безобразия. Работников было мало, но заработная плата тем не менее падала. Даже мелкие кустарные промыслы, которые когда-то приносили сельским жителям кой-какой достаток, исчезли. Продукты сельского хозяйства, проходя через руки земледельцев, не попадали им в рот. Невероятная скудость и запустение простиралась над полями, которые, несмотря на грубое и небрежное хозяйство того времени, были так плодородны и щедры. Имеете ли вы об этом понятие?

--Да, я слышал, что так было, но что случилось потом?

--Перемена,--сказал Хаммонд,--которая в этой области наступила в начале нашей эпохи, совершилась необыкновенно быстро. Люди стали стекаться в деревни и села, они, можно сказать, набрасывались на землю, как зверь на добычу. Вскоре деревни Англии были населены гуще, чем в четырнадцатом столетии, и продолжали быстро расти. Конечно, этим нашествием на деревню трудно было управлять, и оно могло породить много бед, если бы люди оставались во власти классовой монополии. Но в действительности все быстро наладилось. Люди сами поняли, к чему они способны, и перестали браться за такие работы, которые могли принести им только неудачу. Город вторгся в деревню, но новые завоеватели, подобно завоевателям прежних времен, поддались влиянию местной обстановки и стали хлебопашцами. С другой стороны, деревенское население, численность которого превысила население городов, начало влиять на городское, отчего различие между городом и деревней все уменьшалось. Именно этот деревенский мир, оживленный сметкой и подвижностью городского населения, породил ту счастливую и неторопливую, но деятельную жизнь, с которой вы уже соприкоснулись. Повторяю, много было сделано ошибок, но мы имели время их исправить. Много задач выпало на долю человека моего поколения, когда оно было молодо. Незрелые идеи первой половины двадцатого века, когда люди все еще были угнетены страхом перед нищетой и недостаточно верили в радости повседневной жизни, много испортили в той внешней красоте, которую оставил нам в наследство буржуазный век. Даже после своего освобождения люди медленно оправлялись от того вреда, который сами себе нанесли. Но как ни медленно подвигалось оздоровление, все же оно наступило. И чем больше вы будете нас узнавать, тем вам станет яснее, как мы счастливы. Мы живем среди красоты, без страха впасть в изнеженность, у нас достаточно работы, и мы выполняем ее с радостью. Чего же еще можем мы требовать от жизни?

Он остановился, как бы подыскивая слова, чтобы точнее выразить свою мысль. Затем продолжал:

--Вот как у нас обстоят дела. А когда-то Англия была страной расчищенных среди леса полей и пустырей. Кое-где встречавшиеся города служили крепостями для феодального воинства, рынками для народа, местом сосредоточения ремесленников. Затем Англия превратилась в страну больших и грязных фабрик и еще более грязных игорных притонов, окруженных угнетенными, нищенскими деревнями, которые грабил хозяин фабрикант. Теперь же это--сад, где ничто не запущено и ничто не пропадает зря. Там и сям разбросаны необходимые жилища, амбары и мастерские. Все постройки нарядны, чисты и красивы, так как нам было бы стыдно допустить, чтобы производство благ, даже в большом масштабе, приводило к опустошению и бедности. Если бы было иначе, мой друг, жены-хозяйки, о которых мы говорили, задали бы нам перцу.

--В этой области,--сказал я,--ваши реформы, конечно, привели к улучшению. А теперь, хотя я скоро и увижу деревни, скажите мне все же несколько слов о них, чтобы меня подготовить.

--Не случалось ли вам видеть картины,--спросил старый Хаммонд,--удовлетворительно изображающие деревню конца девятнадцатого века? Такие картины существуют.

--Я видел их немало,--ответил я.

--Так вот,--продолжал Хаммонд,--наши деревни очень напоминают селения, изображенные на таких картинах. Главное здание в деревне--церковь или Дом для собраний. Только в нашей деревне нет признаков бедности, нет живописных полуразвалившихся хижин, которыми художники, кстати сказать, злоупотребляли, прикрывая свое неумение писать архитектуру. Подобные вещи нам не нравятся, даже если разрушение не свидетельствует о бедности. Как и люди средневековья, мы любим все четкое, ясное и чистое. Любим порядок. Это свойственно всем людям, чувствующим в себе силу архитектурного созидания. Они знают, что могут достигнуть поставленной перед собой цели и в борьбе с природой не дадут ей одержать над собой верх.

--Кроме деревень, есть и отдельные усадьбы?--спросил я.

--Сколько угодно,--ответил Хаммонд.--Можно сказать, что, за исключением пустошей, лесов и дюн (вроде Хайдхеда в Сэррее), у нас трудно потерять из виду человеческое жилище. А там, где дома разбросаны реже, они обширнее и похожи на общежития старых колледжей. Эти дома существуют для удобства общения между людьми. Здесь могут жить самые различные люди, ибо не все обитатели деревни непременно земледельцы, хотя все они временами участвуют в сельских работах. Жизнь в этих домах очень приятна, особенно потому, что там живет немало наших ученых. Это создает большое разнообразие идей и настроений, веселит и оживляет местное общество.

--Все это меня удивляет,--заметил я.--После всего виденного мне казалось, что деревня должна быть довольно густо заселена.

--Это так и есть,--ответил он.--С конца девятнадцатого века население почти не изменилось количественно, мы только расселились шире, вот и все. Мы помогли также заселению других стран, где наш приезд был желателен и куда нас звали.

--Когда вы называете свою страну «садом»,--сказал я,--одно, мне кажется, не подходит под это название: вы говорили о пустынных местах, о лесах, и сам я видел окраину вашего Мидлсекского и Эссекского леса; зачем вы бережете его? Разве это не расточительство?

--Друг мой,--ответил он,--мы любим эти образцы дикой природы и можем себе позволить сохранить их. Что касается, в частности, лесов, то мы нуждаемся в строевом лесе и думаем, что наши сыновья и наши внуки тоже будут в нем нуждаться. Да, наша страна--сад. Но я слышал, что в садах когда-то сажали кустарники и устраивали искусственные скалы. Я не люблю искусственных, но могу вас уверить, что стоит посмотреть на наши естественные скалы. Поезжайте для этого летом на Север, побывайте в Кэмберленде и Вестморленде. Кстати, вы увидите там большие овечьи пастбища! Вот уж где не приходится говорить о неиспользованном пространстве. Во всяком случае, это бережливее, чем занимать землю под парники и выращивать фрукты в неположенное для этого время года! Таково мое мнение. Поезжайте и взгляните на овечьи тропы высоко на горных склонах между Инглборо и Пенигвентом, а потом расскажете мне, расточаем ли мы даром землю, не застраивая ее фабриками для производства никому не нужных вещей, что было главным делом девятнадцатого столетия.

--Постараюсь туда поехать,--сказал я.

--Это не требует больших стараний!--возразил он.

## *Глава XI* **ОБ УПРАВЛЕНИИ**

--Теперь,--сказал я,--мне придется задать вопросы, на которые вам, вероятно, скучно и трудно будет отвечать. Но волей-неволей я должен их коснуться. Какое у вас правительство? Восторжествовал ли в конце концов республиканский образ правления, или вы пришли к диктатуре, которую в девятнадцатом веке некоторые предсказывали как окончательный результат демократии?

По-видимому, этот последний вопрос не так уж бессмыслен, раз вы превратили здание парламента в склад для навоза. Где же заседает ваш теперешний парламент?

Старик в ответ весело рассмеялся и сказал:

--Навоз--не худший вид разложения, он помогает плодородию. Хуже грязь иного сорта, которую ревностно защищали когда-то в этих стенах. Теперь, дорогой гость, позвольте сказать вам, что нашему парламенту трудно было бы собираться в каком-либо одном месте, так как наш парламент--весь народ.

--Я вас не понимаю!--сказал я.

--Я так и знал,--кивнул головой старик--Теперь я приведу вас в ужас, сказав, что у нас вообще нет того, что вы, житель другой планеты, назвали бы «правительством».

--Я не так потрясен, как вы думаете,--отозвался я,--ибо имею понятие о том, что представляют собой правительства вообще. Но расскажите мне, как вы управляете страной и как пришли вы к такому положению вещей?

--Конечно,--ответил он,--нам приходится обсуждать разные дела, о которых вы можете меня спросить. И, конечно, не всегда каждый доволен выносимыми постановлениями. Но так же верно, что человек не нуждается в сложной системе правления, при которой армия, флот и полиция заставляют его уступать воле большинства равных ему людей. Такой нажим не нужен ему, чтобы понять, что стену головой не прошибешь. Хотите дальнейших объяснений?

--Да, хочу,--сказал я.

Старый Хаммонд поудобнее устроился в кресле и с бодрым видом взглянул на меня. Я немного смутился, опасаясь сухого ученого доклада. Вздохнув, я приготовился слушать.

--Я полагаю, вы хорошо знаете, что представляла собой система правления в тяжелое старое время?

--Допустим, что знаю,--ответил я.

Хаммонд:--Что являлось тогда правительством? Был ли это парламент или хотя бы часть его?

Я--Нет.

Он.--Не был ли парламент, с одной стороны, своего рода сторожевым органом, заседавшим для охраны интересов высших классов, а с другой стороны, балаганом для обмана народа, которому внушали, будто он имеет голос в управлении своими собственными делами?

Я.--История, кажется, это подтверждает.

Он.--В какой мере народ управлял своими собственными делами?

Я.--Насколько я слышал, парламент иногда был вынужден издавать законы, чтобы легализировать уже происшедшие перемены.

Он.--И это всё?

Я.--Думаю, что да. По моим сведениям, когда народ делал попытки устранить причины своих бед, вмешивался суд и объявлял: это бунт, это мятеж и бог знает что еще, и зачинщиков подобных попыток убивали или подвергали мучениям.

Он.--Если парламент не был тогда правительством и народ тоже им не был, кто же был правительством?

Я.--Не можете ли вы сказать мне это сами?

Он.--Я думаю, мы будем недалеко от истины, если

скажем, что правительством был суд, поддерживаемый исполнительной властью, которая управляла при помощи грубой вооруженной силы, и обманутый народ позволял применять ее против себя. Я имею в виду армию, флот и полицию.

Я.--Всякий человек согласится с вами.

Он.--Теперь о суде. Был ли он местом честного разбора дел, в духе современных идей? Мог ли бедный человек найти там защиту своей собственности и своей личности?

Я.--Всем известно, что судебный процесс представлял собой большое материальное бедствие и для богатого человека, даже если он выигрывал дело. Что же касается бедного, то считалось чудом справедливости и необыкновенною милостью, если он, попав в когти закона, избегал тюрьмы и полного разорения.

Он.--Вот почему, сын мой, правление посредством суда и полиции,--а именно так действовало правительство в девятнадцатом веке,--не пользовалось большим уважением даже у людей того времени, которые жили при классовом строе, провозглашавшем неравенство и бедность законом бога и связью, удерживающей мир от распада.

Я.--Это, должно быть, верно.

Он.--И теперь, когда все переменялось и «право собственности», побуждавшее человека хвататься за свои вещи и орать на соседа. «Не дам--это мое!»--когда это право исчезло так бесследно, что нельзя даже шутить на эту тему, может ли такое правительство существовать?

Я.--Не может.

Он.--Да, к счастью! Потому что для какой же другой цели, как не для ограждения богача от бедняка, сильного от слабого существовало подобное правительство?

Я.--Я слышал, что в обязанности правительства входило защищать граждан от нападения внешних врагов.

Он.--Так говорили, но разве кто-нибудь этому верил? Например, разве английское правительство защищало английских граждан от французов?

Я.--Так говорили.

Он.--А что, если бы, например, французы вторглись в Англию и завоевали ее, разве они помешали бы английским рабочим хорошо жить?

Я (со смехом).--Насколько я могу понять, английские хозяева английских рабочих позаботились о том, чтобы этого не было. Они сами обдирали своих рабочих, как только могли, в свою пользу.

Он.--Но если бы французы завоевали страну, разве они не брали бы с английских рабочих еще больше?

Я.--Едва ли. Тогда английские рабочие умерли бы с голоду и французское завоевание разорило бы самих французов так же, как если бы английские лошади и скот пали от недостатка корма. Поэтому английским рабочим от французского завоевания не стало бы хуже: французы не могли бы брать с них больше, чем брали их хозяева-англичане.

Он.--Это правда, и мы можем признать, что мнимые заботы правительства о защите бедного (то есть полезного) класса от врагов сводятся к нулю. Это естественно, ведь мы минуту назад убедились, что роль правительства заключалась в защите богатых людей от бедных. Но, может быть, правительство защищало от внешних врагов богатый класс?

Я.--Мне не доводилось слышать, чтобы богатый класс общества нуждался в защите. Когда два каких-либо народа воевали между собой, богачи обеих сторон не прекращали совместных спекуляций и даже продавали противнику оружие для убийства своих же граждан.

Он.--Одним словом, если управление государством в целях судебной защиты собственности приводило к разрушению народных богатств, то и военная защита подданных своей страны от нападения другой страны приводила к такому же разрушению богатств.

Я.--Не могу этого отрицать.

Он.--Значит, правительство существовало для разрушения народных богатств?

Я.--Так выходит. А все-таки...

Он.--Что?

Я.--А все-таки в те времена было много богатых людей.

Он.--Ясно ли вам, к чему это должно было привести?

Я.--Скажите мне лучше сами.

Он.--Если правительство постоянно разрушало благосостояние страны, не должна ли была страна обеднеть?

Я.--Без всякого сомнения.

Он.--И вот среди этой нищеты люди, в интересах которых существовало правительство, настойчиво домогались богатства, ни с чем не считаясь.

Я.--Именно так и было.

Он.--Что же должно произойти в бедной стране, где немногие обогащаются за счет остальных?

Я.--Беспредельное обеднение этих остальных. И все эти беды причинялись вредоносным правительством, о котором мы говорили.

Он.--Нет, рассуждать так будет не совсем правильно. Само правительство возникло как естественный плод беспорядочной, бесцельной тирании тех времен. Оно было только орудием тирании. Теперь тирания кончилась, нам такое орудие ни к чему, мы свободные люди. Поэтому у нас нет правительства в прежнем смысле слова. Понятно ли это вам?

Я.--Да, все понятно. Но я хочу расспросить вас, как вы, свободные люди, управляете своими делами?

Он.--С удовольствием отвечу вам, спрашивайте!

## *Глава XII* **ОБ УСТРОЙСТВЕ ЖИЗНИ**

--Итак,--сказал я,--что же это за «устройство», которое, по вашим словам, заменило старое правительство. Можете ли вы дать мне о нем какие-нибудь сведения?

--Сосед,--сказал он,--хотя мы и упростили свою жизнь, отбросив многие условности и мнимые нужды, затруднявшие существование наших предков, все же и теперь наша жизнь слишком сложна для того, чтобы я мог подробно объяснить вам на словах, как она устроена. Вы можете понять ее, только живя среди нас. И, в общем, мне легче указать вам то, чего мы не делаем, чем то, что мы делаем.

--Да-а?--неопределенно протянул я.

--Вот в чем дело,--сказал старик.--Мы живем уже около полутора столетий при нашем нынешнем строе. За это время у нас сложились разные традиции и привычки. Они-то и руководят нашими действиями, направленными к общему благу. Нам легко жить, не обкрадывая друг друга. Мы могли бы затевать между собой споры и обирать друг друга, но это было бы для нас труднее, чем воздерживаться от распрей и грабежа. Вот, в кратких словах, основы нашей жизни и нашего счастья.

--Между тем как в старое время,--сказал я,--без распрей и взаимного ограбления было очень трудно прожить. Вы это имеете в виду, объясняя мне «пассивную» сторону хороших условий вашей жизни?

--Да,--сказал он,--это было настолько трудно, что человека, честно поступавшего с соседом, почитали святым и героем, и на него смотрели с уважением.

--При его жизни?--спросил я.

--Нет, после его смерти,--ответил он.

--Но, возвращаясь к настоящему времени,--сказал я,--не станете же вы утверждать, что ни один человек не преступает правил доброго товарищества.

--Конечно, нет, но если совершается проступок, все, до виновного включительно, сознают, что это есть случайное заблуждение друга, а не привычный образ действий человека, ставшего врагом общества.

--Понимаю,--сказал я,--вы хотите сказать, что у вас нет профессиональных преступников.

--Откуда им быть,--ответил он,--если нет класса богачей, чтобы воспитывать врагов государства посредством несправедливостей, совершаемых самим государством?

Я спросил:

--Из ваших слов, сказанных немного раньше, я сделал вывод, что вы отменили гражданское право. Вполне ли это верно?

--Оно само собою сошло на нет, друг мой,--ответил Хаммонд.--Как я говорил, гражданский суд существовал для защиты частной собственности, так как никто не рассчитывал, что можно насильно заставить людей хорошо относиться друг к другу. Когда же частная собственность была отменена, все законы и узаконенные преступления, которые она порождала, тоже пришли к концу. «Не укради!» стало означать: «Хочешь жить счастливо--трудись!» Разве есть необходимость утверждать эту заповедь насильем?

--Хорошо,--сказал я,--это я понял и соглашаюсь с вами. Но как же насчет уголовных преступлений, сопровождаемых насильем. Вы признаете, что они случаются. Разве это не вызывает необходимости в уголовном праве?

--У нас больше нет уголовного права в вашем смысле этого слова,--начал объяснять старик.--Давайте ближе к делу,--посмотрим, как возникают уголовные преступления. В большинстве случаев в прошлое время они возникали как следствие законов о частной собственности, которые препятствовали удовлетворению естественных стремлений всех, за исключением привилегированного меньшинства. Они были результатом всевозможных запретов, вытекавших из этих законов. Все подобные поводы к уголовным преступлениям исчезли. Затем многие акты насилия имели причиной половую извращенность, приводившую к взрывам необузданной ревности и тому подобным несчастьям. Но если вы всмотритесь в это внимательно, то найдете, что подоплекой преступления в большинстве случаев бывала освященная законом идея, что женщина--собственность мужчины, будь то муж, отец или брат. Эта идея, конечно, исчезла вместе с частной собственностью, равно как и нелепое представление о «гибели» женщины, в случае если она следует своим естественным желанием, не считаясь с законом. Этот предрассудок, конечно, был порожден частной собственностью.

Подобной же причиной уголовных преступлений была семейная тирания, которая в прошлом послужила темой стольких романов и опять-таки существовала как печальный результат частной собственности. Само собой разумеется, что со всем этим покончено, с тех пор как семью не сдерживают больше узы принуждения, юридические или общественные, а просто взаимное расположение и привязанность. Каждый волен уйти или оставаться в семье по своему желанию. Кроме того, наши понятия о чести и уважении очень отличаются от прежних. Эксплуатация своего соседа--это путь, теперь закрытый, я надеюсь, навсегда. Человек свободно развивает свои способности в той или иной области, и каждый по возможности поощряет его в этом. Таким образом, мы избавились от «мрачной зависти», которую поэты не без основания дополняют ненавистью. Сколько было вызвано ею горя и даже кровопролития! Люди, легко возбудимые, страстные, то есть энергичные и деятельные, чаще других прибегали к насилию.

--Итак, теперь вы берете обратно ваше утверждение, что у вас больше не бывает насилия!--со смехом сказал я.

--Нет,--возразил Хаммонд,--я ничего не беру обратно: такие вещи всегда будут случаться. Горячая кровь иногда туманит головы. Мужчина ударит другого, тот возвратит ему удар, и это, если допустить худшее, может повлечь за собой убийство. Но что же дальше? Будем ли мы, соседи, еще ухудшать дело? Неужели мы

так плохо думаем друг о друге, чтобы предположить, будто убитый взывает к нам о мести? Мы же знаем, что если бы его только изувечили, то, остыв и хладнокровно взвесив все обстоятельства, он простил бы причинившего ему зло. Разве смерть убийцы вернет к жизни его жертву? Излечит причиненные страдания?

--Да,--сказал я,--но подумайте, не должна ли безопасность общества охраняться каким-либо наказанием?

--Ну вот, сосед!--не без волнения воскликнул старик.--Вы попали в самую точку! «Наказание», которое люди привыкли так мудро обсуждать и так глупо применять, не было ли оно всего лишь проявлением их страха? И им было чего тогда бояться, потому что они, эти правители общества, жили среди опасностей, как вооруженный отряд во вражеской стране. Но у нас, живущих среди друзей, нет причин ни для страха, ни для наказаний. Право же, если бы мы из страха перед случайными и редкими убийствами или случайным, плохо рассчитанным ударом сами стали торжественно и закономерно совершать убийства и применять насилие, мы были бы всего лишь обществом трусливых подлецов. Не так ли, сосед?

--Да, если рассматривать вопрос с этой точки зрения, нельзя с вами не согласиться.

--Но имейте в виду, что, когда совершено какое-нибудь преступление, мы ждем, чтобы преступник по возможности загладил свою вину, и он сам к этому стремится. С другой стороны, допустим, что человек в припадке гнева или минутного безумия совершил насилие. Если мы уничтожим такого человека или причиним ему серьезный ущерб, послужит ли это возмещением обществу? Нет, это будет только добавочный вред.

--Предположим,--сказал я,--что человека тянет к преступлению, например, он каждый год совершает убийство!

--Такие факты нам незнакомы,--промолвил старик.--В обществе, где нет наказания, которого хочется избежать, нет закона, который хочется обойти, за преступлением неизбежно следует раскаяние.

--А более легкие случаи насилия?--спросил я.--Что вы предпринимаете против них? Ведь до сих пор мы с вами говорили о больших трагедиях, не так ли?

И Хаммонд ответил:

--Если преступник не болен и не сумасшедший (в этих случаях он должен быть изолирован, пока не пройдет его болезнь или сумасшествие), ясно, что за проступком должны последовать горе и стыд. Если виновный этого не чувствует, окружающие вразумят его. И тогда все-таки последует некоторое искупление, по крайней мере в виде открытого признания и раскаяния. Казалось бы, легко произнести: «Я прошу прощения, сосед». Но иногда это очень трудно, и пусть так и будет.

--Вы считаете, что этого достаточно?--спросил я.

--Да,--сказал он,--и это все, что мы можем сделать. Если бы мы стали терзать человека, мы обратили бы его раскаяние в озлобление, и стыд за свой проступок уступил бы место надежде отомстить нам за причиненное ему зло. Он будет считать, что искупил наказанием свой проступок и может идти и спокойно грешить вновь! Должны ли мы поступать так бессмысленно? Вспомните Христа: он сперва отменил законное наказание, а потом сказал: «Иди и больше не греши». А кроме того, в обществе равных людей вы не найдете ни одного, кто согласился бы исполнять роль палача или тюремщика, хотя многие готовы стать врачами и сестрами милосердия.

--Значит, вы считаете, что преступление--болезнь, лишь изредка вспыхивающая, и что для борьбы с ней не требуется особого органа юстиции.

--Вот именно,--ответил он,--и, как я вам уже говорил, мы вообще народ здоровый и этой болезнью страдаем редко.

--У вас нет ни гражданского права, ни уголовного,--заметил я.--Но, может быть, у вас существуют законы для торговли, чтобы как-нибудь регулировать товарообмен. Ведь у вас, наверно, производятся расчеты, хотя и нет частной собственности?

--У нас нет индивидуальных расчетов,--объяснил старик.--Вы сегодня уже имели случай в этом убедиться, когда вам понадобилось сделать покупки. Но, конечно, существуют правила, созданные обычаем и изменяющиеся согласно обстоятельствам. Так как эти правила введены по общему соглашению, никому и в голову не приходит их оспаривать. Мы не принимаем никаких мер для подкрепления этих постановлений и поэтому не называем их законами. В судебном процессе, все равно--уголовном или гражданском,--за приговором следует «исполнение», и кто то должен от этого пострадать. Когда вы смотрите на судью, восседающего в своем кресле, вы можете видеть сквозь него,--как если бы он был из стекла,--стоящего за ним полисмена, готового вести жертву в тюрьму, и солдата, готового умертвить живого в настоящую минуту человека. Как вам кажется, приятно ли было бы при таких диких условиях бывать на рынке?

--Очевидно,--ответил я,--рынок превратился бы в поле сражения, на котором множество людей могло бы пострадать, совсем как в бою от пуль и штыков. А из всего того, что я видел, напрашивается вывод, что у нас и крупная и мелкая торговля ведутся так, что представляют собой приятное занятие.

--Вы правы, сосед!--подтвердил Хаммонд.--А впрочем, большинство людей у нас считали бы для себя несчастьем, если бы не могли заниматься изготовлением всевозможных предметов обихода, приобретающих в их руках внешнюю красоту. И так же много среди нас людей, которым нравится управлять домами. Им доставляет подлинное удовольствие быть организаторами и администраторами. Я подразумеваю людей, которые любят следить за порядком, заботиться о том, чтобы ничто не пропадало даром и все шло гладко. Такие люди счастливы своей деятельностью еще и потому, что соприкасаются с реальной действительностью, а не возятся со счетами, соображая, какие поборы можно еще урвать с тружеников, как это делали коммерсанты и приказчики прошлых времен. Ну, а о чем вы меня теперь спросите?

### *Глава XIII* **О ПОЛИТИКЕ**

--Какова ваша политика?--спросил я.

--Я рад,--ответил Хаммонд,--что вы задали этот вопрос именно мне. Всякий другой потребовал бы, чтобы вы объяснили, что вы, собственно, хотите узнать, и вас самого засыпали бы вопросами. Мне кажется, я единственный человек в Англии, который понимает, о чем вы хотите спросить. И раз я это знаю, я вам отвечу очень кратко: с политикой дело у нас обстоит превосходно--ее просто нет. И если вы когда-нибудь на основании нашего разговора напишете книгу, поместите это отдельной главой, взяв за образец книгу старого Хорребоу «Змеи в Исландии».

--Хорошо,--согласился я.

### *Глава XIV* **КАК ВЕДУТСЯ ДЕЛА**

Мой следующий вопрос был:

--Как складываются ваши взаимоотношения с иностранными государствами?

--Я не стану притворяться, будто не понимаю, что вы имеете в виду,--ответил Хаммонд.--И сразу же скажу, что вся система соперничества и борьбы между нациями, которая играла такую огромную роль в жизни цивилизованного мира, исчезла навсегда вместе с социальным неравенством людей.

--Не лишило ли это мир разнообразия красок?--спросил я.

--Почему же?--возразил старик.

--Ведь национальные различия стерлись,--пояснил я.

--Глупости,--довольно резко ответил старик.--Переправьтесь через Ламанш и посмотрите: вы найдете достаточно разнообразия. Пейзаж, здания, еда, развлечения--все не такое, как у нас. Тамашние люди отличаются от наших внешностью, равно как обычаями и взглядами. Одежда граждан тоже более разнообразна, чем в капиталистическую эпоху. Как может способствовать разнообразию или устранить тусклое однообразие насильственное и неестественное объединение нескольких племен или даже народностей, часто плохо ладающих между собой? Потом этих людей называют нацией и начинают разжигать зависть к другим нациям и всякие нелепые предрассудки!

--Да, это к хорошему не ведет,--согласился я.

--Конечно!--обрадовался Хаммонд.--И вы легко поймете, что теперь, когда мы свободны от этого безумия, само разнообразие расовых особенностей в мире делает народы полезными и приятными друг другу, и у них не возникает никакого намерения взаимного ограбления. Все мы стремимся к одному--прожить жизнь с наибольшей пользой. И я должен сказать, что если и возникают ссоры и недоразумения, то--редко между народами разных рас. Следовательно, в этих ссорах меньше безрассудства и их легче уладить.

--Хорошо,--сказал я.--Ну, а политика, связанная с различием мнений в одном и том же обществе? Утверждаете ли вы, что такого различия нет?

--Вовсе не утверждаю,--сердито ответил он.--Но различие мнений по наиболее важным вопросам не вызывает у нас деления людей на партии, постоянно враждующие между собой из-за несходства взглядов на строение мира и мировой прогресс. Разве не это представляла собою политика?

--Гм, я не совсем в этом уверен.

Он продолжал:

--Сосед, я понимаю, что вы хотите сказать: люди только притворялись, что у них серьезные расхождения. Если бы это было искренне, они не могли бы мирно общаться друг с другом в практической жизни. Они не могли бы вместе есть и пить, торговать друг с другом, вместе спекулировать, вместе обманывать других и должны были бы сражаться при каждой встрече. А это их совсем не устраивало. Игра политических главарей заключалась в том, чтобы обманом или силой заставлять людей платить за роскошную жизнь и изысканные развлечения небольшой клики честолюбцев. Разыгрывать серьезное различие мнений, чему противоречил в действительности каждый их поступок, было вполне достаточно для достижения ими своих целей. Что общего имеет все это с тем, что у нас теперь?

--Надеюсь, что ничего,--сказал я.--Но, боюсь... короче говоря, я слышал, будто политическая борьба свойственна человеческой природе.

--Человеческой природе!--горячо воскликнул старик.--Какой человеческой природе? Природе нищих, рабов, рабовладельцев или природе обеспеченных, свободных людей? Чьей, скажите мне, пожалуйста?

--Да,--сказал я.--мне кажется, что люди поступают различно, в зависимости от обстоятельств.

--Я тоже так думаю,--согласился старик.--И опыт показывает, что это именно так. Различие наших взглядов по поводу деловых вопросов и преходящих явлений не может навсегда разделять людей. Обычно практический результат показывает, кто был прав. Решает факт, а не отвлеченное рассуждение. Например, ясно, что трудно сколотить политическую партию, чтобы отстаивать срок, когда произвести уборку сена в той или другой местности--на этой неделе или на следующей,--если все согласны, что косить надо не позднее, чем через две недели, и каждый может отправиться в луга и удостовериться своими глазами, готова ли трава для покоса.

--И эти разногласия, мелкие и крупные, вы разрешаете, надо думать, волею большинства?

--Конечно,--сказал он,--как же иначе их разрешать? Видите ли, в делах личных, которые не затрагивают благосостояния общества,--например, во что человеку одеваться, что ему есть и пить, что писать или читать,--никаких споров быть не может, и каждый поступает по своему усмотрению. Но когда дело касается интересов всего общества и применение или неприменение какой-нибудь меры затрагивает каждого его члена, решать должен голос большинства, если только меньшинство не возьмется за оружие и не докажет силой, что оно является реальным большинством. Но, конечно, в обществе людей, свободных и равных, это маловероятно, так как в подобном обществе видимое большинство есть и фактическое большинство, и люди, как я заметил раньше, знают это слишком хорошо, чтобы оказывать сопротивление только из упрямства, особенно раз у них была полная возможность изложить свою точку зрения.

--Как же это делается?--спросил я.

--Возьмем для примера какую-нибудь нашу административную единицу--общину, округ или приход: у нас в ходу все эти названия, но, в сущности, разница между ними незначительна, хотя в прошлом она была велика. В таком «районе», как сказали бы вы, соседи решают, что надо создать или уничтожить, например, построить ли новую ратушу, снести ненужные дома, или заменить каменным мостом безобразный железный--тут у вас одновременно и разрушение и созидание. Итак, на ближайшей сходке соседей, или вече, как мы это называем, пользуясь древним языком добюрократических времен, какой-нибудь сосед предложит новое мероприятие. Конечно, если все согласны, прения отпадают, разве только обсуждаются подробности. Равным образом, если никто не поддерживает предложения, дело на время откладывается. Среди здравомыслящих людей это бывает не часто, так как вносящий предложение, конечно, уже посоветовался кое с кем до собрания. Но допустим, что дело предложено и поддержано. Если некоторые из соседей несогласны с предложением, если они, например, считают, что неуклюжий железный мост может еще постоять, и не желают в настоящее время возиться с постройкой нового моста, предложение не голосуют, откладывая обсуждение до следующего собрания, а в промежутке ведется агитация за и против, приводятся различные доводы, некоторые из них даже печатаются, так что каждый может быть в курсе дел. Когда собрание созывают снова, происходят обстоятельные прения, и в конце концов вопрос голосуют поднятием руки. Если голоса разделились почти поровну, вопрос откладывают до нового обсуждения. Если же перевес одной стороны значителен, запрашивают меньшинство, согласно ли оно подчиниться большинству, что меньшинство часто--даже почти всегда--и делает. В случае отказа вопрос обсуждается в третий раз, и тут, если меньшинство значительно не возросло, оно всегда уступает. Впрочем, мне кажется, есть какое-то полузабытое правило, по которому меньшинство может продолжать отстаивать свою линию. Но, как я говорил, чаще всего люди убеждаются--если не в том, что их мнение неправильно, то хотя бы в том, что им не убедить общину принять его.

--Очень хорошо,--сказал я,--но что происходит, если разница в голосах незначительна?

--В соответствии с нашими принципами и согласно правилу, в подобных случаях вопрос снимается с обсуждения, и даже большинство, если оно так незначительно, должно подчиниться, то есть все остается

status quo<sup>1</sup>. Надо сказать, что на деле меньшинство очень редко настаивает на этом правиле и обычно действует дружелюбно.

--Но знаете ли вы,--сказал я,--что все это очень похоже на демократию? А я думал, что уже много-много лет назад демократию признали смертельно больной.

Глаза старика сверкнули.

--Я согласен, что наши методы имеют этот недостаток. Но что поделаешь! Вы не найдете среди нас ни одного, кто жаловался бы на то, что общество не всегда дает ему действовать по-своему. Каждый не может иметь такую привилегию. Да и что можно сделать?

--Право, не знаю,--сказал я.

--Я могу представить себе только такие возможности: во-первых, мы могли бы избрать или воспитать группу высокообразованных людей, способных судить по всем вопросам, не советуясь с соседями. Короче говоря, мы могли бы создать для себя то, что называют аристократией ума; во-вторых, в целях сохранения свободы личности мы могли бы вернуться к системе частной собственности и опять иметь рабов и рабовладельцев. Что вы думаете по поводу этих двух возможностей?

--Есть и третья возможность,--сказал я,--устроить так, чтобы каждый человек был совершенно независим от других, и, таким образом, уничтожить тиранию общества.

Он пристально посмотрел на меня, а затем от души рассмеялся. Признаюсь, я присоединился к нему. Успокоившись, он кивнул мне и сказал:

--Да, да, я совершенно согласен с вами, да и все мы согласны.

--Во всяком случае,--сказал я,--меньшинство у вас не чувствует себя подавленно. Возьмем, например, вопрос о постройке моста: никто не обязан работать, если он не согласен с проектом. По крайней мере мне так кажется.

Старик улыбнулся и сказал:

--Очень остроумно, и все же--это точка зрения жителя другой планеты. Если представитель меньшинства чувствует себя обиженным, без сомнения, он может утешиться, отказавшись участвовать в постройке моста. Но, дорогой сосед, это не очень действенное средство против «обиды», причиненной «тиранией большинства». Ведь в нашем обществе всякое дело либо полезно, либо вредно для каждого члена общества. Например, от постройки моста человек выгадывает, если строительство оказалось полезным, и терпит ущерб, если оно оказалось вредным, независимо от того, приложил он к нему руку или нет. А между тем своим трудом он помог бы строителям. Я не вижу для него никакого утешения, кроме удовольствия сказать: «Я говорил вам!»--если постройка нанесла ему ущерб; а если он получил выгоду, ему остается только молчать. Ужасная тирания--наш коммунизм, а? Народ часто предостерегали от этого «несчастья» в прошедшие времена, когда на одного сытого, довольного человека приходилась тысяча несчастных голодающих. Что же касается нас, мы живем здоровыми и счастливыми при нашей тирании, которую, по правде сказать, ни в какой микроскоп не разглядишь! Не бойтесь, мой друг, мы не станем наклеивать на себя беды, обзывая наше миролюбие, изобилие и счастье плохими словами, значение которых мы даже забыли.

Он замолк и сидел задумавшись, потом встрепенулся и промолвил:

--Есть ли у вас еще вопросы, дорогой гость? Пока мы с вами беседовали, утро незаметно прошло.

## *Глава XV* **О НЕДОСТАТКЕ ПОБУДИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ ТРУДА В КОММУНИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ**

--Да,--сказал я,--но Дик и Клара могут появиться с минуты на минуту. Есть ли еще время задать вам вопрос-другой, прежде чем они придут?

--Попытайтесь, дорогой сосед, попытайтесь!--ответил старый Хаммонд.--Чем больше вы будете спрашивать, тем больше доставите мне удовольствия. Во всяком случае, если они войдут во время моих объяснений, им придется спокойно посидеть, делая вид, что они слушают, пока я не кончу. Они от этого ничего не потеряют: им будет приятно сидеть рядом, чувствуя взаимную близость.

Я невольно улыбнулся и сказал:

---

<sup>1</sup> При прежнем положении (*лат.*).

--Хорошо, я стану говорить, не обращая на них внимания, если они войдут. А теперь вот что я хотел вас спросить: как вы достигаете того, что люди работают, и притом усердно, если нет платы за труд?

--Нет платы за труд?--задумчиво повторил за мной Хаммонд.--Плата за труд--жизнь! Разве этого недостаточно?

--Но нет награды за особенно хорошую работу,--настаивал я.

--Целый ряд наград,--возразил старик,--радость творчества, например. Как сказали бы в прежнее время, это плата, которую получает бог. Если вы станете требовать плату за радость творчества, сопровождающую совершенную работу, мы, наверно, скоро увидим счета за зачатие детей.

--Да,--усмехнулся я,--но человек девятнадцатого века сказал бы, что существует естественное стремление к деторождению и естественное стремление не работать.

--Да, да,--сказал Хаммонд,--я знаю эту старинную шутку, плоскую и лживую. В наших глазах она лишена всякого смысла! Фурье, которого все высмеивали, понимал дело лучше.

--Почему вы считаете это бессмыслицей?--спросил я.

--Потому что тогда выходит, будто всякий труд--страдание, а мы бесконечно далеки от этой мысли. Как вы уже могли заметить, нам вдоволь хватает материальных благ, но среди нас растет смутное опасение, что вдруг нам не хватит работы. Труд--не страдание, а--удовольствие, которое мы боимся потерять!

--Да, я это заметил и собирался вас об этом спросить. Но что вы имеете в виду, утверждая, что труд для вас--удовольствие?

--Всякий труд теперь приятен,--ответил он,--или благодаря надежде на почет и улучшение жизни, надежде, которая сопровождает работу и радостно возбуждает даже тогда, когда работа сама по себе тягостна; или же в силу того, что труд превратился в приятную привычку, как в случае так называемой механической работы; или, наконец, потому (и это чаще всего), что у мастера своего дела возникает чувство глубокого удовлетворения выполненною работою.

--Понимаю,--сказал я.--Но можете ли вы теперь сказать мне, как вы достигли этих счастливых условий. Откровенно говоря, это отличие от условий старого мира кажется мне гораздо более значительным и важным, чем все перемены, касающиеся преступлений, политики, собственности и брака, о которых вы мне рассказывали.

--Вы правы,--сказал он.--Вы могли бы даже сказать, что эта перемена и сделала возможными все остальные. В чем цель революции? Конечно--сделать людей счастливыми. Революция принесла с собой неизбежные изменения, но как предотвратить контрреволюцию иначе, как сделав людей счастливыми? Разве можно ожидать устойчивости мира там, где царит несчастье? Кто может собрать виноград с терновника и финики с чертополоха? Как невозможно это, так невозможно и счастье без радостного повседневного труда.

--Совершенно верно,--вставил я, подумав, что мой старик увлекся проповедью.--Но ответьте на мой вопрос: как вы достигли такого счастья?

--Скажу кратко,--ответил он,--отсутствием принуждения и предоставлением каждому свободно делать то, на что он более всего способен, а также изучением вопроса, какие продукты труда нам действительно необходимы. Должен признаться, что к решению этого вопроса мы шли медленно и мучительно.

--Продолжайте,--сказал я,--расскажите обо всем подробнее, так как этот предмет меня живейшим образом интересует.

--Хорошо,--сказал он,--но тогда я должен начать со скучного разговора о прошлом. Вы не возражаете? Контрасты необходимы для ясности.

--Нет, нет,--успокоил я его. И он заговорил, поудобнее расположившись в кресле для долгой речи.

--Из всего, что мы слышим и читаем, явствует, что в последний период цивилизации люди попали в порочный круг в области производства товаров. Они достигли удивительного развития производства и, для того чтобы максимально использовать эти средства, постепенно создали необыкновенно сложную систему купли и продажи, которая называлась «мировым рынком». Этот мировой рынок, раз возникнув, заставлял вырабатывать все больше и больше товаров, независимо от нужды в них. Таким образом, помимо затраты труда на производство всего необходимого, приходилось еще изготавливать множество бесполезных предметов, удовлетворяя мнимые или искусственно созданные потребности. По железным законам мирового рынка эти виды производства сделались столь же важны, как и производство товаров первой необходимости, нужных для поддержания жизни. Поэтому люди взвалили на себя гигантскую работу только для того, чтобы сохранять в действии эту уродливую систему.

--К чему же это привело?--спросил я.

--А вот к чему. Стибаясь под страшным бременем ненужного производства, люди стали смотреть на труд и его плоды только с точки зрения непрестанного стремления затрачивать возможно меньший труд на каждое создаваемое изделие и в то же время производить возможно больше изделий. Этому «удешевлению

производства», как тогда говорили, приносили в жертву все: радость труда, элементарные удобства рабочего, его здоровье, питание, одежду, жилье, его отдых, развлечения и образование. Короче говоря, вся жизнь рабочего не весила и песчинки в сравнении с этой драгоценной необходимостью «дешевого производства» предметов, большую часть которых вовсе не стоило и производить. Нам говорят,--и мы должны этому верить, так неопровержимы многочисленные свидетельства,--что даже богатые и влиятельные люди, хозяева этих несчастных горемык, мирились с жизнью среди таких зрелищ, звуков и запахов, от которых отшатнулся бы с отвращением всякий нормальный человек. Богачи шли на это, лишь бы поддержать своими капиталами описанное мною безумие! Все общество, в сущности, было в пасти этого прожорливого чудовища, «дешевого производства», созданного мировым рынком.

--Боже мой,--сказал я.--К чему же это привело? Неужели ум и изобретательность людей не преодолели в конце концов этот хаос нищеты? Разве они не могли насытить мировой рынок и затем придумать средства, как избавить себя от ужасного бремени излишнего труда?

Хаммонд горько улыбнулся.

--Пытались ли они?--сказал он.--Я и в этом не уверен. Вы знаете старую поговорку: «Жук привык жить в навозе». А тогдашние люди, безусловно, жили в навозе, как ни был он им неприятен.

Эта оценка жизни девятнадцатого столетия ошеломила меня.

--А машины, дающие экономии в труде?--неуверенно пробормотал я.

--Ну, знаете ли!--воскликнул он.--Машины, экономящие труд? Да, они были созданы, чтобы «экономить труд» рабочих (или точнее--сохранять их жизнь) применительно к одному продукту производства, но лишь с целью использовать труд тех же рабочих, вернее--растратить его, на производство другого--обычно совершенно бесполезного--продукта. Все старания удешевить труд приводили к увеличению бремени труда. Аппетит мирового рынка рос по мере еды. Страны, находившиеся в кругу цивилизации (иначе говоря--организованной нищеты), были наводнены товарами, которых не мог поглотить рынок. Тогда, щедро пуская в дело насилие и обман, начали «открывать» для рынка страны, находившиеся вне сферы его действия. Этот процесс «открывания» кажется странным тем, кто читал заявления людей того времени, не зная их практической деятельности. Этот процесс показывает нам с худшей стороны великий порок девятнадцатого века: лицемерие и ханжество, к которым прибегали, чтобы сложить с себя ответственность за чудовищную жестокость. Когда цивилизованный мировой рынок облюбовал страну, еще не попавшую ему в когти, всегда находился какой-нибудь вымышленный предлог: либо уничтожение рабства, менее жестокого, чем рабство капиталистическое, либо распространение религии, в которую ее проповедники уже сами больше не верили, либо «спасение» какого-нибудь отчаянного авантюриста или маньяка, чьи злодейства навлекли на него гнев туземцев «варварской» страны. Как говорится, всякая палка хороша, чтобы побить собаку. И вот находился какой-нибудь дерзкий, беспринципный, невежественный искатель приключений (найти такого--задача нетрудная в эпоху всеобщей конкуренции), которого подкупали для «создания рынка». Этот субъект ломал традиционный общественный строй в обреченной стране и орудовал так, что людям свет становился не мил. Он навязывал туземцам товары, в которых те не нуждались, отбирал «в обмен», как называлась эта форма разбоя, их естественные богатства и таким образом создавал «новые потребности». Для удовлетворения их и для получения права на жизнь при новых хозяевах беспомощные туземцы вынуждены были продавать себя в рабство беспросветного труда, чтобы иметь на что купить жалкие продукты «цивилизации». Ах,--сказал старик, указывая в сторону музея,--я прочел много книг и статей, рассказывающих действительно страшные вещи о том, как цивилизованный мир (мир организованной нищеты) поступал с нецивилизованным. Например, о том, как британское правительство намеренно отправляло неуголному ему племени краснокожих, в качестве великолепного подарка, одеяла, зараженные оспой, или как отравлял жизнь африканцам человек по имени Стэнли, который...

--Простите меня,--перебил я,--но, как вы знаете, время не терпит, и я хотел бы по возможности придерживаться основной линии нашей беседы. Я хочу спросить вас о качестве тех товаров, которые производились для мирового рынка. Надо думать, что люди, столь искушенные в производстве этих товаров, делали их хорошо?

--Качество!--сухо повторил за мной старик, недовольный тем, что его прервали.--Как могли они заботиться о таких пустяках, как качество сбываемых товаров? Лучшие из этих товаров были посредственные, худшие же представляли лишь слабое подобие требуемых предметов. Их никто бы не брал, если бы мог найти что-нибудь другое. В те времена говорили шутя, что вещи изготавливаются для продажи, а не для употребления. Вы, человек с другой планеты, можете понять эту шутку, но наши люди ее не понимают.

--Как?--удивился я.--Неужели все, что изготавливалось, было скверно?

--Не совсем так,--ответил старый Хаммонд.--Один вид изделий был очень хорош: это--машины, которые употреблялись для производства различных товаров. Обычно эти машины изготавливали чрезвычайно

тщательно, и они превосходно выполняли свое назначение. Таким образом, можно сказать, что великим достижением девятнадцатого века было создание машин, этого чуда изобретательности, труда и терпения, используемого для производства безграничного множества бесполезных вещей. Впрочем, владельцы машин не смотрели на выпускаемые ими товары как на материальные блага, а только как на средства для личного обогащения. Единственной проверкой качества было--находит ли товар сбыт.

--И люди мирились с подобным порядком?--спросил я.

--Да, некоторое время,--ответил Хаммонд.

--А потом?

--А потом произошел переворот,--сказал, улыбаясь, старик,--и девятнадцатый век увидел себя в положении человека, у которого во время купанья украли платье, отчего ему пришлось голым идти по городу.

--Вы очень жестоки к несчастному девятнадцатому веку!--заметил я.

--Конечно,--ответил он--я его хорошо знаю!

Немного помолчав, он продолжал:

--В нашей семье сохранились предания, даже точные воспоминания, связанные с этой эпохой. Мой дед был одной из ее жертв. Если вы что-нибудь знаете об этом времени, вы поймете, сколько он должен был выстрадать, если я вам скажу, что он был в те дни истинным художником, одаренным человеком и революционером!

--Да, я понимаю,--сказал я.--Но теперь вы, кажется, в корне все это изменили?

--Да,--ответил он.--У нас изготавливают такие вещи, в которых есть необходимость. Люди работают для своих соседей, как для самих себя, а не для какого то отдаленного рынка, о котором им ничего не известно и над которым они не имеют контроля. А раз у нас больше нет купли и продажи, было бы безумием производить товары наудачу: авось они кому-нибудь понадобятся. Ведь теперь уже нет людей, которых можно было бы заставить купить их. Поэтому все, что теперь изготавливается, сделано хорошо и отвечает своему назначению. Все товары должны иметь спрос, поэтому не производится ничего низкопробного. Далее, определив, как я уже говорил, что нам нужно, мы только это и производим. А так как никто больше не заставляет нас производить великое множество бесполезного хлама, у нас достаточно времени и возможности работать над изделием с любовью. Работы, слишком утомительные для ручного труда, выполняются весьма совершенными машинами. Но там, где можно найти удовольствие, работая своими руками, машины не применяются. Нет ничего трудного в том, чтобы найти работу по вкусу и особенностям каждого, поэтому никто не приносит себя в жертву ради нужд соседей. Иной раз мы замечаем, что изготовление какой-нибудь вещи сопряжено со слишком большими затруднениями и беспокойством. Тогда мы отказываемся от этой вещи и обходимся без нее. Мне кажется, вам должно быть ясно, что при таких условиях труд у нас представляет собой приятное упражнение для ума и тела. Вот почему никто не избегает труда, а, напротив, все ищут его. А так как люди, работая поколением за поколением, приобретали все большую ловкость и навык, сама работа стала им гораздо легче, и теперь, хотя они работают меньше, производят, вероятно, больше. Этим и объясняется упомянутое мною опасение, что количество работы может сократиться. Вы, должно быть, и сами это заметили. Эта боязнь усиливается среди нас вот уже несколько десятков лет.

--А вы допускаете, что у вас может возникнуть нечто вроде голода в области труда?--спросил я.

--Нет,--ответил он,--и скажу почему: каждый старается сделать свою работу возможно более приятной. Это приводит к повышению качества, так как никому не охота заниматься трудом, не приносящим ему чести. Это заставляет работать более обдуманно и старательно. К тому же многие изделия можно отнести к произведениям прикладного искусства, и это открывает широкие возможности работы для искусных мастеров. Опять-таки, если искусство неисчерпаемо, то неисчерпаема и наука. Она перестала быть просто безобидным занятием, на которое образованному человеку не зазорно тратить время. Теперь она стала жизненным делом для многих людей, увлеченных преодолением ее трудностей и любящих ее больше всего на свете. Кроме того, внося в работу все более элемент удовольствия, мы теперь можем взяться за изготовление таких полезных предметов, от которых раньше отказывались из-за трудности производства. Кстати, я думаю, что разговоры о возможности «нехватки» работы вы можете услышать только в наиболее передовых частях Европы. Те же страны, которые когда-то были колониями Великобритании, и Америка, особенно та часть последней, которая называлась Соединенными Штатами, представляют для нас широкое поле деятельности, и это еще надолго. Эти страны, а больше всего бывшие Соединенные Штаты, сильно пострадали от последних лет старой цивилизации. Люди прозябали там в таких ужасных условиях, что теперь они очень отстали во всем, что скрашивает жизнь. Можно сказать, что почти целое столетие жители Северной Америки затратили на то, чтобы постепенно создать себе место для поселения там, где раньше была зловонная мусорная свалка. В тех краях найдется для нас еще много работы, тем более что страна очень велика.

--Хорошо,--сказал я,--меня очень радует, что перед вами такое счастливое будущее. Но я хотел бы задать вам еще несколько вопросов и этим на сегодня кончить.

## *Глава XVI* **ОБЕД В ЗАЛЕ РЫНКА БЛУМСБЕРИ**

Не успел я договорить, как услышал у двери шаги, и вошли наши влюбленные, оба настолько прекрасные, что без всякого чувства неловкости можно было смотреть на их взаимную нежность, которой они почти и не скрывали. Казалось, весь мир тоже должен питать к ним чувство любви. Что же касается старого Хаммонда, то он смотрел на них взглядом художника, только что закончившего картину, которая удалась ему так, как он ее задумал. Он был совершенно счастлив.

--Садитесь, садитесь, молодые люди, и не шумите,--сказал он.--У нашего гостя осталось еще несколько вопросов.

--Я так и думал,--заметил Дик,--вы просидели всего лишь три с половиной часа, а ведь едва ли за такое короткое время можно изложить историю двух столетий. Кроме того, вы, вероятно, еще забрели в область географии и обсудили вопросы мастерства.

--Что касается шума, дедушка,--сказала Клара,--то вам скоро помешает звон обеденного колокола. Нашему гостю, я полагаю, он покажется сладкой музыкой, так как, по-видимому, он завтракал рано, а вчера провел утомительный день.

--Да,--сказал я,--сейчас, когда вы об этом упомянули, я действительно почувствовал голод. Я очень долго питался удивлением. Это сушая правда,--подтвердил я в ответ на ее улыбку--и какую прелестную улыбку!

Как раз в этот миг с невидимой башни где-то высоко в воздухе раздался серебристый колокольный перезвон. Его нежная, прозрачная мелодия показалась моему непривычному слуху песней первых весенних дроздов и вызвала у меня вихрь воспоминаний. Они воскрешали частью мрачные, частью светлые картины, но и те и другие сейчас только радовали меня.

--Никаких вопросов до обеда,--сказала Клара, взяла меня за руку, как сделал бы ласковый ребенок, и повела вниз по лестнице, во двор музея, предоставив обоим Хаммондам следовать за нами. Мы направились к рынку, где я уже раньше побывал. Длинная вереница нарядно одетых людей входила туда одновременно с нами.

Повернув в галерею и войдя в богато украшенную резьбою дверь, у порога которой хорошенькая темнокудрая девушка подарила всем по прекрасному букету летних цветов, мы очутились в зале, который был гораздо больше зала хэммермитского Дома для гостей, богаче по архитектурной отделке и, может быть, еще прекраснее. Мне трудно было оторвать взгляд от стеной живописи, а кроме того, я считал неудобным смотреть все время на Клару, хотя она, этого и заслуживала. Я сразу же заметил, что сюжеты картин взяты из древних мифов, о которых в мой век мало кто знал. Когда оба Хаммонда сели напротив нас, я сказал старику, указывая на фриз:

--Как странно видеть здесь эти сюжеты!

--Почему же,--возразил он,--вам нечему удивляться: здесь все знают эти сказки, они очень изящны и не слишком трагичны для места, где люди едят, пьют и веселятся. В то же время они богаты забавными эпизодами.

--Право, я не ожидал,--улыбнулся я ему в ответ,--найти здесь увековеченными «Семь лебедей», «Короля золотой горы», «Верного Генриха» и другие, собранные Якобом Гриммом, интересные сказки глубокой старины, казавшиеся слишком наивными даже в его время. Я думал, что вы-то, наверно, совсем забыли такие ребяческие темы.

Старый Хаммонд тоже улыбнулся и ничего не сказал, зато горячо вмешался Дик:

--Что вы хотите сказать, гость? Я считаю, что и эти картины, и сами сказки прекрасны. Когда мы детьми гуляли в лесу, за каждым кустом, за каждой излучиной реки нам мерещились персонажи сказок и каждый дом в поле был для нас домом сказочного короля. Помнишь, Клара?

--Да,--сказала она, и мне показалось, словно легкая тень скользнула по ее лицу. Я хотел было заговорить с нею, но в это время к нам подошли, улыбаясь, хорошенькие девушки и, приветливо щебеча, как малиновки в листве, стали подавать нам обед.

Что касается обеда, то он, так же как и завтрак, был прекрасно приготовлен и сервирован с изяществом, которое доказывало, что те, кто его готовил, интересовались своим делом. Причем меня не поразило обилие еды или ее изысканность. Все блюда были просты и превосходного качества. При этом нам объяснили, что обед был не праздничный, а самый обыкновенный.

Мне, любителю средневекового искусства, чрезвычайно понравились посуда и серебро. Но клубный завсегдатай девятнадцатого века нашел бы сервиз грубоватым. Посуда была из покрытого глазурью фаянса, очень красиво расписанная. Фарфора было мало, большей частью--безделушки в восточном стиле. Стеклянная посуда, нарядная и изящная, была очень разнообразна по форме, однако имела шероховатую поверхность, уступая в отделке производству девятнадцатого века.

Убранство зала и мебель были под стать убранству стола: прекрасная форма, богатый орнамент, но без той тонкости работы, которой достигали «краснодеревцы» моего времени. При этом--полное отсутствие того, что в девятнадцатом веке называли «предметами комфорта», то есть громоздких, бессмысленных вещей. Таким образом, я за этот день не только получил много прекрасных впечатлений, но еще и пообедал в столь приятной обстановке.

Когда мы кончили обедать и сидели уже за бутылкой отличного бордо, Клара снова вернулась к вопросу о сюжетах настенной живописи, будто этот разговор смутил ее покой. Она взглянула на картины и сказала:

--Чем объяснить, что мы, живущие такой интересной жизнью, принимаясь писать стихотворение или картину, редко обращаемся к современности? А если это и бывает, автор старается, чтобы его произведение возможно меньше походило на действительность. Разве мы не стоим того, чтобы писать самих себя? Почему ужасное прошлое так любопытно для нас, когда его воспроизводят живопись или поэзия?

Старый Хаммонд улыбнулся.

--Всегда так было, и, думаю, всегда так будет. Впрочем, это можно объяснить. Да, в девятнадцатом веке, когда было так мало искусства и так много разговоров о нем, существовала теория, что искусство и художественная литература должны отражать реальную жизнь. Но на деле это не осуществлялось. Авторы, как только что отметила Клара, всегда старались замаскировать, преувеличить, идеализировать или другим способом изменить действительность. В конце концов трудно было понять, изображают ли они современность или времена фараонов.

--Да,--сказал Дик,--вполне естественно, что фантастика нас увлекает. Ведь в детстве, как я только что сказал, мы любим воображать себя кем-то другим и в каком-то ином месте. Вот почему нам нравятся и эти картины. Так и должно быть!

--Ты попал в точку, Дик!--сказал Хаммонд.--Произведения фантазии создает та часть нашей природы, в которой что-то сохранилось от детства. В детстве время для нас тянется медленно, и нам кажется, что его хватит на все что угодно!--Он вздохнул и с улыбкой добавил:--Давайте порадуемся, что к нам вернулось наше детство. Я пью за настоящие дни!

--За второе детство!--тихо произнес я и тут же покраснел за свою двойную дерзость, надеясь, что старик меня не расслышал.

Но он услышал, повернулся ко мне с улыбкой и сказал:

--Отчего же нет! Что касается меня, то я надеюсь, что детство продлится долго. А следующий мировой период, период мудрой и печальной зрелости, пусть скорее приведет нас и к третьему детству (если только мы его уже не достигли). А пока, друг, знайте, что мы слишком счастливы, каждый в отдельности и все вместе, чтобы беспокоиться о том, что будет еще не скоро!

--Что касается меня,--сказала Клара,--я хотела бы, чтобы мы были достаточно интересны для того, чтобы с нас писали картины и о нас писали книги.

Дик ответил ей словами влюбленного, которые трудно передать, и после этого мы некоторое время сидели молча.

## *Глава XVII* **КАК ПРОИЗОШЛА ПЕРЕМЕНА**

Наконец Дик прервал молчание и сказал:

--Гость, извините, что мы после обеда немного разленились. Что бы вы хотели предпринять? Хотите, мы опять запрежем Среброкудрую и поедем обратно в Хэммерсмит, а не то послушаем, как поют валлийцы в зале поблизости отсюда, или, может быть, вы желаете пройтись по городу и посмотреть по-настоящему красивые здания? Право, не знаю, что вам предложить.

--Что ж,--сказал я,--я здесь чужой и предоставляю вам выбрать за меня.

По правде говоря, я в этот момент вовсе не стремился к развлечениям. Старик с его знанием прошлого и даже каким-то влечением к нему, которое уживалось в нем с ярой ненавистью к тем временам, как бы укрывал меня от холода этого слишком нового для меня мира, где с меня, так сказать, спали, как одежда, все привычные мысли и представления. Мне не хотелось так скоро расставаться с ним, и он сразу пришел мне на помощь.

--Погоди немного, Дик!--сказал он.--Здесь надо посоветоваться еще кое с кем, кроме тебя и гостя, а именно со мной. Я не собираюсь лишать себя общества нашего друга. Кроме того, я знаю, что он еще хочет о чем-то меня расспросить. Итак, отправляйтесь к вашим валлийцам, но прежде принесите нам еще бутылку вина, а затем можете идти: и не забудьте вернуться за нашим гостем, чтобы отвезти его домой. Однако с этим не спешите!

Дик с улыбкой кивнул головой, и вскоре мы со стариком остались в большом зале одни. Красное вино в наших высоких граненых бокалах искрилось в лучах предвечернего солнца.

--Что больше всего удивляет вас в нашем образе жизни?--спросил Хаммонд.--Теперь вы уже много слышали о нем и кое-что видели сами.

--Наибольшее мое недоумение,--сказал я,--вызывает вопрос, как произошла вся эта перемена.

--Да, это естественно, если учесть, сколь велика перемена!--сказал он.--Было бы трудно, пожалуй даже невозможно, рассказать вам всю историю. Горький опыт, неудовлетворенность, предательство, разочарование, разорение, нищета, отчаяние--через все эти стадии страдания прошли те, кто готовил перемену, люди, более дальновидные, чем другие. И, без сомнения, все это время большинство людей смотрело на жизнь, не понимая, что происходит, думая, что все так и должно быть, как восход и заход солнца. Да так оно и было.

--Скажите мне одно,--настаивал я.--Эта перемена, или революция, как ее обычно называют, произошла мирно?

--Мирно?--переспросил он.--Какой мир мог существовать между несчастными, темными людьми девятнадцатого века! Война шла с начала до конца, жестокая война, до тех пор пока надежда и радость не положили ей конец.

--Вы подразумеваете настоящую войну с оружием в руках,--спросил я,--или забастовки, локауты и голод, о которых мы слышали?

--Все, все это,--сказал он.--В действительности история ужасного переходного периода между капиталистическим рабством и свободой может быть охарактеризована так: когда в конце девятнадцатого века зародилась надежда на создание коллективных условий жизни для всех людей, средние классы, тогдашние властители общества, обладали такой огромной и всепоглощающей силой, что для большинства людей, даже для тех, кто по своим убеждениям питал надежду на лучшее будущее, оно казалось сказочным сном. Такие настроения были настолько сильны, что некоторые просвещенные люди, которые тогда называли себя социалистами,--отлично зная и даже открыто утверждая, что единственное разумное состояние общества--чистый коммунизм (какой вы видите сейчас вокруг себя), сами отступали перед бесплодной, как им казалось, задачей осуществления заманчивой мечты. Оглядываясь назад, мы теперь видим, что великой двигательной силой революции было стремление к свободе и равенству, близкое, если хотите, к нерассуждающей страсти влюбленного, к болезни сердца, с негодованием отвергавшего бесцельную и одинокую жизнь состоятельного образованного человека того времени. Эти понятия, мой дорогой друг, потеряли всякий смысл для нас, нынешних людей, так далеки мы от страшных фактов, которые они отражали.

Итак, просвещенные люди, хотя и понимали стремление к свободе, не верили в него как в средство осуществления переворота. И это не удивительно, так как вокруг себя они видели огромную массу угнетенных людей, слишком подавленных бедствиями жизни и слишком зараженных эгоизмом нищеты, чтобы верить в возможность избавления, разве только путем, предписанным системой рабства, при которой они жили: случайной возможностью выкарабкаться из угнетенного класса в класс угнетателей.

Тем не менее, хотя они и знали, что единственная разумная цель для тех, кто хочет улучшить мир, это равенство людей, в своем нетерпении и отчаянии они убедили себя, что, если бы им правдой или неправдой удалось видоизменить всю машину производства и институт собственности так, чтобы немного улучшилось рабское состояние низшего класса (какое ужасное название!), они могли бы приспособиться к этой машине и пользоваться ею для нового и нового улучшения условий существования масс. Конечным результатом их усилий явилось бы «практическое равенство» (в то время очень любили употреблять слово «практический»). Тогда «богатому» пришлось бы платить столько за содержание «бедного» в сносных условиях, что богатство потеряло бы свою цену и постепенно сошло на нет. Вы меня понимаете?

--Кажется,--сказал я.--Продолжайте!

--Хорошо, тогда вы согласитесь, что эта мысль теоретически была не так уж безрассудна. Но «на практике» она провалилась.

--Как так?--спросил я.

--Дело в том, что она требовала создания производственной машины людьми, не знавшими, что эта машина должна делать. Поскольку угнетенные классы поддерживали эти попытки улучшить жизнь, они старались добиться увеличения рабочих пайков. Но что было бы, если бы в массах действительно заглохло

инстинктивное стремление к свободе и равенству? Я думаю, было бы то, что известная часть рабочего класса улучшила бы свое положение и приблизилась к положению среднезажиточных людей. Но ниже их находилась бы огромная масса бесконечно несчастных рабов, чье рабство стало бы еще безнадежнее.

--Что этому помешало?--спросил я.

--Конечно, то инстинктивное стремление к свободе, о котором мы говорили. Правда, класс рабов не мог даже представить себе счастье свободной жизни. Все же они начали понимать (и очень скоро), что их угнетают хозяева, они осознали--как вы можете видеть--осознали с полным основанием, что могли бы обойтись без них.

И вот, хотя эти люди не могли представить себе счастье и благоденствие свободного человека, они по крайней мере стремились к борьбе, со смутной надеждой, что борьба приведет к этому благоденствию.

--Не можете ли вы подробнее рассказать мне, что действительно произошло,--попросил я, так как нашел, что под конец старик говорил очень туманно.

--Да,--сказал он,--могу. Эта машина, которая должна была служить народу, не умевшему с ней обращаться, называлась в свое время «государственным социализмом». Машину пустили в ход, но лишь частично и в неполном виде. И работала она не гладко. Ей, конечно, мешали на каждом обороте капиталисты. И это не удивительно, так как государственный социализм стремился свергнуть буржуазную систему, о которой я вам говорил, не создав взамен ничего действительно эффективного. В результате--неразбериха, все больше страдания рабочего класса и, как следствие, широкое недовольство. Это длилось долго. Мощь высших классов ослабевала по мере того, как падало их господство над народным богатством. Они больше не могли действовать по своему произволу, как в минувшие дни. В этом государственный социализм себя оправдал. С другой стороны, рабочий класс был плохо организован и становился беднее, несмотря на вырванные у хозяев уступки. Таким образом, установилось некое неустойчивое равновесие: хозяева не могли привести рабов к полному повиновению, хотя довольно легко подавляли слабые и частичные возмущения. Рабочие заставляли хозяев улучшать условия их существования, но не могли добиться от них свободы.

Наконец произошла великая катастрофа. Чтобы объяснить это вам, надо отметить, что в рабочем движении наступил большой прогресс, хотя, как было сказано, меньше всего--в направлении улучшения жизненных условий.

Я разыграл наивность и спросил:

--Какое же могло произойти улучшение, если не в области жизненных условий?

--Выросла сила,--сказал старый Хаммонд,--способная создать новый общественный строй, при котором жизненный уровень легко было бы поднять. После долгого периода ошибок и жестоких неудач рабочие наконец поняли, как надо организовываться. Теперь они повели регулярную организованную борьбу против своих господ, борьбу, которая в течение более полувека считалась неизбежным следствием системы труда и производства. Это объединение рабочих приняло теперь форму федерации союзов всех или почти всех представителей наемного труда, и через ее по средству были вырваны у хозяев некоторые улучшения в положении рабочих. Союзы нередко принимали участие в возмущениях, случавшихся особенно часто в ранний период организованного рабочего движения, но это ни в коем случае не было основой их тактики. В то время, о котором я говорю, союзы стали так сильны, что обычно одной только угрозы забастовки было достаточно, чтобы добиться удовлетворения каких-нибудь второстепенных требований. Союзы отказались от нелепой тактики прежних тред-юнионов, призывавших к забастовке только часть рабочих той или иной промышленности и поддерживавших их в это время за счет труда оставшихся на работе. Постепенно образовался настолько крупный денежный фонд для поддержки забастовщиков, что союзы могли приостановить работу в целой отрасли промышленности.

--Не возникало ли серьезной опасности, что кто-нибудь злоупотребит этими деньгами?--спросил я.

Старик Хаммонд тревожно заерзал в своем кресле и сказал:

--Хотя все это было очень давно, я до сих пор испытываю стыд при мысли, что хищнические покушения на общественные средства случались нередко. Не раз казалось, что вся организация из-за этого распадется. Но в то время, о котором я говорю, сложилось настолько угрожающее положение, рабочие так хорошо понимали необходимость настойчивой борьбы, что наиболее здравомыслящие элементы прониклись сознанием своей ответственности. Исполненные решимости, они отбрасывали в сторону все несущественное. Для дальновидных людей это положение стало признаком скорого переворота. Атмосфера была слишком опасной для предателей и эгоистов. Одного за другим их оттесняли, и они большей частью присоединялись к отъявленным реакционерам.

--А улучшения?--спросил я--Чего удалось добиться?

--Некоторые улучшения,--объяснил старик,--наиболее существенные для уровня жизни людей, были введены хозяевами предприятий под непосредственным давлением рабочих. Завоеванные таким образом

новые условия труда вошли в практику, но не были скреплены законом. Однако хозяева не рисковали отменять эти уступки перед лицом возраставшего могущества объединенных рабочих. Некоторые улучшения были лишь ступенями развития государственного социализма. Могу кратко указать наиболее значительные из них. В конце девятнадцатого века было выдвинуто требование: заставить хозяев сократить продолжительность рабочего дня. Этот лозунг быстро распространился, и хозяева должны были уступить. Но было ясно, что без соответствующего повышения ставок часовой оплаты это было совершенно неприемлемо и что хозяева, если дать им волю, лишат эту меру всякого смысла. Поэтому, после долгой борьбы, был принят другой закон, устанавливающий минимальную плату за труд в важнейших отраслях промышленности. Закон этот, в свою очередь, был дополнен другим, устанавливающим максимальный предел цен на главные товары, которые считались необходимыми для жизни рабочего.

--Вы подошли опасно близко к налогам в пользу бедных позднего периода римской империи,--с улыбкой сказал я,--и к раздаче хлеба пролетариату.

--Так многие говорили в те времена,--сухо ответил старик,--и долго было ходячей фразой, что государственный социализм рано или поздно заведет общество в болото застоя. Однако, как вы знаете, этого не случилось. Правительство пошло дальше установления допустимых минимальных ставок и максимальных цен. Кстати, как мы теперь видим, эта мера действительно была необходима. Господствующий класс громко жаловался на упадок и гибель торговли. (Тогда люди еще не понимали, что это было так же необходимо, как уничтожение холеры). Правительство было вынуждено встретить эти протесты мерами, направленными против хозяев, а именно: созданием государственных фабрик для производства необходимых товаров и учреждением рынков для их продажи. Совокупность этих мер дала кое-какие положительные результаты. Собственно говоря, они носили характер распоряжений начальника осажденного города, но, конечно, когда эти законы вошли в силу, привилегированным классам показалось, что настал конец света.

Этот страх имел свое основание. Распространение коммунистических теорий и частичное осуществление государственного социализма расшатали и почти парализовали чудесный буржуазный строй, при котором старый мир трясло как в лихорадке, одним он предоставлял жить в роскоши и азартных играх, а другим, или вернее, большинству, прозябать в нищете. Снова и снова возвращались «тяжелые времена», и действительно они были достаточно тяжки для наемных рабов. Особенно трудным был тысяча девятьсот пятьдесят второй год. Рабочие страдали ужасно, малопроизводительные государственные фабрики, в которых царили злоупотребления, владели жалкое существование, и множеству людей приходилось питаться за счет «благотворительности». Объединение союзов следило за событиями с надеждой и тревогой. К этому времени оно уже формулировало свои общие требования. Но теперь, опираясь на законное и всеобщее голосование членов всех союзов, оно настаивало, чтобы сделан был первый шаг к удовлетворению этих требований. Этот шаг привел бы прямо к передаче права распоряжаться всеми естественными ресурсами, вместе с машинами для их использования, в руки Объединения союзов. Привилегированные классы попали бы в положение пенсионеров, зависящих от милости рабочих. Эта «резолюция», широко опубликованная в газетах, была, по существу, объявлением войны. Так она и была воспринята классом господ, который начал готовиться, чтобы дать ожесточенный отпор «современному свирепому коммунизму». А так как этот класс все еще был могущественным или по крайней мере казался таким, он надеялся грубой силой вновь отвоевать себе кое-что из потерянного и, может быть, в конце концов одержать полную победу. Представители буржуазии на все лады твердили, что разные правительства допустили большую ошибку, не дав отпора раньше. Либералов и радикалов (так называлась, как вам, может быть, известно, наиболее демократически настроенная часть правящего класса) очень корили за то, что они своим неуместным доктринерством и глупой сентиментальностью привели мир к такому тяжелому положению. Некого Гладстона или Гледстейна (судя по имени--скандинавского происхождения), известного политического деятеля девятнадцатого столетия, особенно осуждали в этом отношении. Едва ли я должен объяснять вам нелепость подобной кампании. Но за этими потугами партии реакционеров скрывалась грозная трагедия. «Ненасытная жадность низших классов должна быть подавлена!»--«Народу надо дать урок!»--такие лозунги выдвинули реакционеры, и они были достаточно зловещи!

Старик остановился и, пристально посмотрев мне в лицо, на котором, несомненно, отражался большой интерес к его словам, сказал:

--Я знаю, дорогой гость, что употребил слова и выражения, которые мало кто мог бы понять без долгого и подробного объяснения. Но раз вы еще не заснули, слушая меня, и раз я говорю с вами, словно с жителем другой планеты, я позволю себя спросить вас: следите ли вы за ходом моих мыслей?

--Да, да!--заверил я его.--Я все отлично понимаю. Пожалуйста, продолжайте. Много из того, о чем вы рассказывали, было слишком хорошо известно нам, когда, когда...

--Да,--подхватил старик,--когда вы стояли перед теми же проблемами на другой планете. Теперь вернемся к вышеупомянутой катастрофе. По какому-то сравнительно незначительному поводу вожди рабочих созвали большой митинг на Трафальгарской площади (за право собираться на этом месте боролись долгие годы). Гражданская стража (называемая полицией), по своему обыкновению, атаковала собравшихся дубинками. Многие были ранены в свалке, пять человек задавлено насмерть, остальные избиты. Митинг разогнали, и несколько сот арестованных посадили в тюрьму. Другой митинг был разогнан таким же способом за несколько дней перед тем в городе Манчестере, который в настоящее время не существует. Так начался «урок» для народа. Вся страна пришла в волнение, митинги собирались один за другим, и на каждом наскоро создавали организацию для созыва других митингов протеста против действий властей.

Огромная толпа собралась на Трафальгарской площади и на прилегающих улицах. Эта толпа была настолько многочисленна, что полиция, вооруженная дубинками, не могла с ней справиться. Завязались рукопашные схватки, трое или четверо из толпы были убиты, несколько полисменов растерзаны толпой. Остальные обратились в бегство. Это была победа народа.

На следующий день весь Лондон (вспомните, как огромен он был!) охватило волнение. Многие богачи бежали в деревню. Власти держали наготове войска, но не решались пустить их в действие. Полицию невозможно было сосредоточить в каком-либо одном месте, потому что в любом можно было ожидать вспышек восстания.

Но в Манчестере, где люди не были столь отважны или столь ожесточены, как в Лондоне, многие популярны вожди были арестованы. В Лондоне собрались лидеры рабочих от Объединения союзов. Они заседали под старым революционным названием «Комитета общественного спасения», но, так как в их распоряжении не было обученной военной силы, они не предпринимали активных действий, а только расклеивали по стенам воззвания туманного содержания, убеждая рабочих не позволять врагам топтать себя ногами. Тем не менее Комитет назначил на Трафальгарской площади митинг ровно через две недели после упомянутого выше столкновения.

Тем временем город не успокаивался и все дела приостановились. Газеты, которые тогда, как и всегда в прежнее время, были почти все в руках господствующего класса, требовали от правительства репрессивных мер. Богатые горожане вступали в особый полицейский отряд, вооруженный, как и вся полиция, дубинками. В отряде собрались крепкие, упитанные молодцы, которые были не прочь подраться. Но правительство не отважилось пустить их в дело, а удовольствовалося тем, что получило от парламента чрезвычайные полномочия для подавления всякого возмущения и стягивало в Лондон все больше и больше войск. Так прошла неделя после первого огромного митинга. Почти столь же многолюдный митинг состоялся в ближайшее воскресенье. Он прошел мирно, так как никто ему не препятствовал, и народ опять провозгласил победу. Но в понедельник люди проснулись и почувствовали голод. В последние дни кучки людей бродили по улицам и просили (или, если хотите, требовали) денег, чтобы купить пищу. Более богатые по доброй воле или из боязни давали им довольно много. Власти в сельских приходах (у меня сейчас нет времени, чтобы объяснить вам это выражение) волей-неволей отдавали проходившим через села людям, что могли, по части съестных припасов, а правительство, через посредство своих маломощных национальных мастерских, тоже кормило большое число голодающих. В добавление к этому некоторые пекарни и продовольственные лавки были опустошены без особых столкновений.

Пока все еще обстояло благополучно. Но в упомянутый понедельник Комитет общественного спасения, с одной стороны, напуганный неорганизованным разгромом многих лавок, а с другой стороны, ободренный нерешительностью правительства, послал рабочих с подводами и необходимыми принадлежностями, чтобы вывезти продовольствие из двух или трех больших складов в центре города. Заведующим складами оставили документы, содержавшие обещание оплатить стоимость продуктов. Кроме того, в тех частях города, где рабочие были наиболее сильны, они завладели несколькими пекарнями и заставили пекарей работать на пользу народа. Все это происходило довольно мирно. Сама полиция помогала поддерживать порядок на складах, как при большом пожаре.

Но этот последний удар побудил реакционеров забить тревогу: они решили принудить власти к действию. На следующий день газеты, охваченные яростью и паникой, были полны угроз по адресу народа, правительства и всех кого попало. Они требовали, чтобы порядок был немедленно восстановлен. Депутация крупнейших представителей торговопромышленного класса отправилась к правительству и заявила, что, если оно немедленно не арестует Комитет общественного спасения, они сами соберут людей, вооружат их и нападут на поджигателей, как они называли восставших рабочих.

В присутствии некоторых газетных редакторов они долго беседовали с руководителями правительства и видными представителями военного ведомства. С этого совещания, как говорит очевидец, участники

депутации ушли удовлетворенные и больше не говорили о создании антинародной армии, но в тот же вечер вместе с семьями выехали из Лондона в свои поместья.

На следующее утро правительство объявило Лондон на осадном положении, явление нередкое в абсолютистских государствах на континенте, но неслыханное в Англии в те дни. Начальником территории, объявленной на осадном положении, они назначили самого молодого и самого талантливого из своих генералов, человека, который отличался в позорных войнах, время от времени предпринимаемых Англией. Пресса была в экстазе, и самые ярые реакционеры выступили теперь на передний план. Среди них много людей, которые в обыкновенное время вынуждены были высказывать свои взгляды лишь в самом узком кругу, но теперь надеялись раз навсегда подавить социалистические и даже демократические тенденции, к которым, утверждали они, в течение последних шестидесяти лет относились с неразумным попустительством.

Талантливый генерал не предпринимал никаких открытых действий, и только некоторые мелкие газеты порицали его. Дальновидные люди заключали отсюда, что замышляется что-то неладное. Что же касается Комитета общественного спасения, то, как бы он ни оценивал положение, он зашел слишком далеко, чтобы отступить, а многие из его членов, по-видимому, считали, что правительство не будет действовать. Они спокойно продолжали организовывать продовольственное снабжение, сводившееся, в сущности, к ничтожным выдачам продуктов. В противовес осадному положению они вооружили, сколько могли, людей в тех кварталах, где были сильнее всего, но не пытались обучать их, вероятно полагая, что все равно не успеют сделать из них дисциплинированных солдат. Талантливый генерал, его солдаты и полиция во все это не вмешивались, и жизнь в Лондоне во вторую половину недели протекла спокойнее, хотя в провинции там и сям вспыхивали волнения, подавляемые властями без особых усилий. Наиболее серьезные столкновения были в Глазго и Бристоле.

Так наступило воскресенье, назначенное для митинга. Многочисленные толпы народа пришли на Трафальгарскую площадь. Среди них находилась большая часть членов Комитета, сопровождаемых кое-как вооруженной охраной. На улицах было совершенно мирно и спокойно, но множество зрителей толпилось, чтобы посмотреть на двигавшееся мимо них шествие. Полиции на площади не было. Люди совершенно спокойно заняли площадь, и митинг начался. Вокруг главной трибуны стояли вооруженные люди, среди толпы кое у кого тоже было оружие, но подавляющее большинство было безоружно. Многим казалось, что митинг пройдет мирно. Но члены Комитета слышали с разных сторон, что готовится какое-то покушение. Однако это были лишь смутные слухи, и никто не знал, чего нужно опасаться. Скоро они это узнали!

Прежде чем прилежавшие к площади улицы заполнились народом, отряд солдат вступил на площадь с северо-западной стороны и выстроился вдоль домов. При виде красных мундиров в народе поднялся ропот. Вооруженная охрана Комитета стояла в нерешительности, не зная, что делать. И действительно, этот новый людской поток так стеснил толпу, что неумелые люди из охраны едва ли могли бы пробиться сквозь нее. Не успели они освоиться с присутствием врага, как другие отряды солдат, появившись из улиц, выводящих через широкий южный проспект к парламенту (здание еще существует и называется «Навозным рынком»), а также со стороны пристаней Темзы, подошли, сжимая толпу в еще более густую массу, и заняли позицию вдоль южной стороны площади. Тогда те, кто видел эти перемещения войск, сразу поняли, что попались в ловушку и им остается только ждать, что с ними будет.

Тесно сжатая толпа не двигалась, да и не могла бы двигаться, разве только под действием величайшей паники. Ждать ее пришлось недолго. Отдельные вооруженные люди пробились вперед или взобрались на постамент стоявшего тогда на площади памятника, чтобы грудью встретить стену огня. Большинству (среди стоявших здесь было много женщин) казалось, что наступает конец света, так разительно этот день отличался от вчерашнего. Не успели солдаты построиться, как, по словам очевидца, с южной стороны выехал верхом блестящий офицер и что-то прочел по бумаге, которую держал в руке. Его мало кто слышал, но мне впоследствии рассказывали, что это был приказ разойтись и предостережение, что он имеет законное право в случае послушания стрелять по толпе. Толпа приняла это как вызов и ответила глухим угрожающим ревом, после чего настала непродолжительная тишина, пока офицер не вернулся в ряды. Я стоял с краю, близко от солдат, говорит очевидец, и увидел, как выкатили вперед три маленькие машины. Я узнал в них пулеметы. Тогда я закричал: «Бросайтесь наземь, они будут стрелять!» Но едва ли кто мог броситься наземь, так тесно была сжата толпа. Я услышал резкий выкрик команды и только успел подумать, что со мной будет через минуту. Затем слов не земля разверзлась и ад предстал перед нами. Ни к чему описывать последовавшую затем сцену. Пули пробили глубокие бреши в тесной толпе. Убитые и раненые покрывали землю. Вопли, стоны, крики ужаса наполнили воздух, пока не стало казаться, будто в мире ничего другого не существует, кроме убийства и смерти. Те из наших вооруженных людей, которые еще не были ранены, дико крича, открыли рассыпной огонь по солдатам. Один или два из них упали, и я увидел офицеров, которые, проходя

вдоль рядов, уговаривали солдат продолжать стрельбу. Но те мрачно выслушивали приказания и опускали приклады ружей. Лишь один сержант подскочил к пулемету и стал наводить его. Тогда высокий молодой офицер выбежал из рядов и за шиворот оттащил сержанта обратно. Солдаты стояли неподвижно, а охваченная ужасом толпа, почти вся безоружная (большинство вооруженных людей сразу же погибли), начала растекаться с площади. Впоследствии мне говорили, что солдаты на западной стороне тоже стреляли и, таким образом, принимали участие в этой бойне. Не помню, как я выбрался с площади я шел, не чувствуя земли под ногами, исполненный бешенства, ужаса и отчаяния.

Так говорит очевидец. Число убитых на стороне народа после минутной стрельбы было огромно, но точные цифры не легко установить. Вероятно, погибло до двух тысяч человек. Из числа солдат шестеро было убито наповал и двенадцать ранено.

Я слушал, дрожа от волнения. Глаза старика сверкали, и лицо его горело, когда он сообщил мне то, чего я всегда опасался. Все же я удивился его приподнятому настроению после рассказа об этой безжалостной расправе.

--Как ужасно!--сказал я.--Надо думать, эта бойня на время положила конец всей революции?

--О нет!--воскликнул Хаммонд.--Только тут она по-настоящему и началась.

Он наполнил бокалы, встал и промолвил:

--Осушите бокал в память тех, кто там погиб, ибо долго придется мне рассказывать, сколь многим мы им обязаны!

Я выпил. Он снова сел и продолжал:

--Бойней на Трафальгарской площади началась гражданская война, хотя, как все подобные явления, она развивалась медленно и люди едва ли сознавали, в какой критический период они живут. Как ни страшен был этот расстрел и как ни были люди потрясены, разобравшись в своих чувствах, они испытывали скорее гнев, чем страх, хотя осадное положение проводилось теперь молодым и талантливым генералом без всяких поблажек. Когда на следующее утро стало известно о случившемся, даже правящие классы были охвачены отвращением и ужасом, но правительство и те, кто его непосредственно поддерживал, считали, что, заварив кашу, надо ее расхлебывать. Однако даже самые реакционные капиталистические газеты (за исключением двух), ошеломленные невероятными известиями, ограничились сухим отчетом о том, что произошло, и воздержались от каких-либо комментариев. Исключение составила так называемая «либеральная» газета (правительство тех дней имело эту окраску), которая, после предисловия, где она заявляла о своих неизменных симпатиях к трудящимся массам, развивала ту мысль, что во времена революционных потрясений правительство должно быть справедливым, но твердым и что наиболее милосердный способ обхождения с бедными безумцами, которые посягают на самые устои общества (сделавшего их безумными и бедными), это немедленно пристрелить их, чтобы спасти других от возможности попасть под расстрел. Короче говоря, газета восхваляла решительные действия правительства, как вершину человеческой мудрости и милосердия, и восторженно предрекала новую эпоху благоразумного демократизма, свободного от тиранических претензий социалистов.

Другим исключением была газета, которая считалась одним из самых ярых противников демократии. Так оно и было, однако редактор нашел в себе мужество выступить от своего имени, а не от имени газеты. Кратко, в простых негодующих словах он спрашивал, чего стоит общество, которое нужно защищать избиением невооруженных граждан, и призывал правительство отменить осадное положение и предать суду генерала и его офицеров, которые стреляли в народ. Он пошел дальше и заявил, что, каково бы ни было его мнение о доктрине социализма, он отныне связывает свою судьбу с народом до тех пор, пока правительство не искупит своей жестокости, показав, что оно готово прислушаться к требованиям людей, которые знают, чего хотят, и которых старческий маразм современного общества принудил так или иначе добиваться удовлетворения этих требований.

Конечно, этот редактор был тотчас же арестован военными властями, но его смелая статья уже пошла по рукам и произвела такое огромное впечатление, что правительство после некоторого колебания отменило осадное положение, хотя в то же время осилило военную охрану и сделало ее еще более строгой. Три члена Комитета общественного спасения были убиты на Трафальгарской площади. Что касается остальных, то большая часть вернулась к месту своих прежних собраний и там спокойно ожидала событий. В понедельник утром их арестовали, и они были бы немедленно расстреляны генералом, который являлся всего лишь военной машиной, если бы правительство не испугалось ответственности за убийство людей без всякого суда. Сначала их хотели судить специальной Комиссией судей, то есть группой людей, в чью обязанность входило бы признать их виновными. Но приступ горячки у правительства уже прошел, и заключенные были преданы суду присяжных. Здесь правительство ожидало новый удар: несмотря на то что судья потребовал от присяжных признать подсудимых виновными, они были оправданы, и присяжные дополнительно сделали

заявление, в котором они осуждали действия военщины как «опрямительные, неудачные и ненужные» по странной фразеологии того времени. Комитет общественного спасения возобновил свои заседания и с этого момента стал связующим центром для всех общественных сил, находящихся в оппозиции к парламенту. Правительство теперь уступало по всем пунктам и делало вид, что идет навстречу желаниям народа. Между тем оно готовило широкий заговор, чтобы осуществить *coup d'etat*<sup>1</sup> под руководством лидеров двух противоположных парламентских партий. Доброжелательно настроенная часть общества была в восторге от наступившего спокойствия и думала, что всякая опасность гражданской войны миновала. Победа народа была отпразднована на огромных митингах в парках, в память жертв гнусной бойни.

Но меры, принятые для облегчения положения рабочих, хотя и казались высшим классам разорительно революционными, в действительности были недостаточны, чтобы обеспечить людям пищу и сносное существование. Их пришлось дополнить негласными постановлениями, не опиравшимися на закон. Хотя правительство и парламент имели за собой суды, армию и «общественное мнение», Комитет общественного спасения становился в стране реальной силой, действительно представляя трудящиеся массы. Со времени оправдания его членом Комитет чрезвычайно улучшил свою работу. Его прежний состав не отличался административными способностями, но, за исключением немногих корыстолюбцев и предателей, это были честные, храбрые люди и многие из них даже талантливы в других областях. Но теперь, когда обстоятельства требовали немедленных действий, выдвинулись люди, способные поставить дело на ноги, и быстро разрослась новая сеть рабочих организаций, единственной целью которых было привести общественный корабль к коммунизму. А так как они, в сущности, приняли на себя руководство повседневной войной труда против капитала, они скоро стали рупором и представителями всего трудящегося класса в целом. Промышленники и буржуазия оказались бессильными перед таким положением. До тех пор пока их «комитет»--парламент--не наберется храбрости, чтобы снова начать гражданскую войну и стрелять направо и налево, они были принуждены уступать требованиям людей, которых они нанимали, и платить им все большую заработную плату за все меньший рабочий день. Но они имели одного союзника: быстро надвигавшееся крушение всей системы, основанной на мировом рынке и его снабжении. Это было так ясно для всех, что средние классы, временно осуждавшие правительство за жестокое избиение людей, круто повернули фронт и теперь призывали его взяться за дело и положить конец тирании социалистических лидеров.

Раздуваемый таким образом реакционный заговор вспыхнул, по-видимому, раньше, чем созрел. Но на этот раз народ и его вожди были предупреждены, и, прежде чем реакционеры могли развернуть активные действия, они предприняли шаги, которые считали необходимыми.

Либеральное правительство (очевидно, по тайному сговору) было свергнуто консерваторами, хотя последние были номинально в значительном меньшинстве. Представители народа в палате отлично понимали, что это означало, и, после попытки борьбы против этого маневра в палате общин, они заявили протест, покинули палату и явились все вместе в Комитет общественного спасения. Таким образом, гражданская война возобновилась с новой силой.

Ее первым актом был, однако, не просто вызов к бою. Новое торийское правительство, решив действовать, все же не смело возобновить осадное положение. Но оно послало отряд солдат и полицию арестовать Комитет общественного спасения в полном составе. Комитет не оказал сопротивления, хотя мог бы это сделать, так как имел теперь в своем распоряжении значительные отряды вооруженных людей, готовых к борьбе. Вместо этого решено было сперва испробовать оружие, которое Комитет считал более сильным, чем уличное сражение.

Члены Комитета спокойно отправились в тюрьму. Но остался боевой дух Комитета и созданная им организация. Она опиралась не на бюрократический центр с регистрацией входящих и исходящих бумаг, а на огромные народные массы, горячо сочувствовавшие движению и связанные с ним множеством мелких центров, получивших простые четкие инструкции. Эти-то инструкции начали теперь выполняться.

На следующее утро, когда главари реакции, посмеиваясь, думали о том впечатлении, которое произведет на публику отчет в газетах об их «удачном ходе», ни одна газета не вышла. И только к полудню небольшое число отдельных листков, размером с газету семнадцатого века, листков, набранных полицией, солдатами, предпринимателями и журналистами, было распространено на центральных улицах. Эти листки все жадно расхватывали и читали, но к тому времени важнейшая часть известий не была уже новостью, и никто не нуждался в сообщении, что началась всеобщая забастовка! Поезда стали, телеграф бездействовал, мясо, рыба, зелень, привезенные на рынок, лежали нераспакованными и гнили. Тысячи семей среднего класса, чья очередная трапеза находилась в полной зависимости от рабочих, прилагали невероятные усилия, чтобы

---

<sup>1</sup> Переворот (франц.)

как-нибудь удовлетворить потребности дня. И среди тех из них, кто был способен отбросить страх перед грядущим, замечалось даже некоторое веселье по поводу неожиданного «пикника». Это было точно предчувствие будущего, когда всякая работа должна была стать приятной.

Так прошел первый день, и к вечеру правительство совсем растерялось. Оно знало только одно средство для подавления всякого народного движения--грубую силу. Но против кого оно могло бы двинуть армию и полицию? На улицах не показывались вооруженные отряды, служебные помещения Объединения союзов были превращены, по крайней мере с виду, в места оказания помощи безработным. При таких обстоятельствах правительство не решалось арестовывать находившихся там людей, тем более что в этот вечер многие даже очень почтенные горожане приходили сюда за помощью и вместе с супом смиренно глотали благотворительность революционеров.

Итак, правительство расставляло там и сям солдат и полицию и держалось в эту ночь вполне пассивно, ожидая наутро от мятежников, как теперь называли забастовщиков, какого-нибудь «манифеста», который дал бы повод к тем или иным действиям. Оно было разочаровано. Большинство газет отказалось в это утро от борьбы, и только одна очень яркая реакционная газета «Дейли телеграф» попробовала стать в гордую позу и в красноречивых словах поносила мятежников за их безумие и неблагодарность; ведь они вырывают последнее из рта их общей матери--английской нации в пользу кучки жадных и подкупленных агитаторов и обманутых ими глупцов! С другой стороны, социалистические газеты (из которых только три, представлявшие несколько различных направлений, издавались в Лондоне) появились перегруженными до отказа самым разнообразным материалом. Их расхватывали самые широкие слои населения, ожидая, как и правительство, найти в них «манифест». Но там не было ни одного слова, касавшегося великих событий. Казалось, редакторы откопали в своих ящиках статьи, которые были бы уместны лет сорок тому назад как «просветительный материал». Большинство их представляло собой великолепное и общепонятное изложение доктрины и практики социализма, изложение, свободное от торопливости, злословия и резких слов. С этих страниц как бы повеяло свежестью майского дня среди забот и угроз переживаемого момента. Люди знающие понимали, что этот ход в игре означал вызов и объявление непримиримой вражды к тогдашним правителям. Хотя это было единственной целью выпуска «мятежниками» этих статей, все же они сыграли свою роль и как статьи «просветительные». В то же время «просвещение» иного рода оказывало сильное влияние на граждан и, надо думать, немного проясняло им голову.

Что касается правительства, то оно пребывало в полной панике от такого «бойкота» (это слово было тогда общепринятым для подобного воздержания от действий). Решения правительства были дики и противоречивы до последней степени: то оно стояло за уступки, подготавливая в то же время новый заговор, то буквально через час выпускало приказ арестовать все рабочие комитеты. Немногим позже оно готово было приказать расторопному молодому генералу устроить под первым попавшимся предлогом новую бойню. Но, вспомнив, как подавлены были солдаты, участвовавшие в «деле» на Трафальгарской площади, и как их нельзя было заставить стрелять вторично, правительство не решилось на такую меру.

Между тем арестованные, вторично приведенные в суд под сильным солдатским конвоем, были опять оправданы.

Забастовка продолжалась и в этот день. Рабочие комитеты были расширены и оказывали помощь множеству людей. Они широко организовали снабжение продовольственными продуктами, поставив на это дело надежных работников. Многие зажиточные горожане были вынуждены искать продовольственной помощи в Комитетах. Но тут произошла новая неожиданность: появилась шайка вооруженных молодых людей из высших классов и принялась мародерствовать на улицах, хватая съестные припасы и вещи--все, что попадалось под руку в магазинах, которые они заставали открытыми. Шайка действовала на Оксфорд-стрит, тогда одной из главных улиц с множеством разнообразных магазинов. Правительство, которое в данный момент было настроено проявить уступчивость, признало это событие удобным случаем, чтобы показать свою беспристрастность в деле защиты порядка, и приказало задержать шайку голодных молодых богачей, которые, однако, неожиданно оказали полиции яростное сопротивление, благодаря чему все, за исключением троих, успели скрыться.

Правительство не добилося этим выступлением признания своей беспристрастности, как оно ожидало, так как, за отсутствием вечерних газет, слух о стычке хотя и передавали из уст в уста, но в искаженном виде. Об этом эпизоде рассказывали как о смелом выступлении голодающего населения Ист-Энда, и всякий считал естественным со стороны правительства, что оно стремилось подавлять подобные вспышки.

В тот же вечер арестованных комитетчиков посетили в камерах чрезвычайно любезные и полные сочувствия личности, которые разъясняли им, каким самоубийственным путем они идут и как опасны эти

крайние пути для народного дела. Один из заключенных рассказывает: «Было очень любопытно, выйдя из тюрьмы, сравнить наши рассказы о том, как правительство пыталось одурачить в тюрьме каждого поодиночке и как мы отвечали на заискивание высокообразованных и утонченных особ, посланных, чтобы выведать у нас, что удастся. Один из наших только смеялся, другой рассказывал сплошные небылицы, третий угрюмо отмалчивался, четвертый обругал вежливого шпиона и посоветовал ему попридержать язык. Вот и все, чего они добились».

Так прошел второй день забастовки. Было ясно, что третий день приведет к кризису, потому что всеобщее смятение и плохо скрытая паника были невыносимы. Правящие классы и обыватели из средних классов, далекие от политики, которые являлись их опорой, остались как овцы без пастуха и решительно не знали, что им делать.

Одно все же казалось им необходимым: побудить «мятежников» к какому-нибудь действию. Итак, на следующее утро, третье утро забастовки, когда члены Комитета общественного спасения опять предстали перед судом, с ними обошлись с необыкновенной почтительностью, как с полномочными особами, посланниками, а не как с арестантами. Одним словом, судья получил соответствующую инструкцию. Поэтому ему ничего не оставалось, как произнести длинную и глупую речь, какую мог бы написать Диккенс в качестве сатиры. Арестованные были отпущены и отправились в свой штаб, где сейчас же началось заседание Комитета.

Да и пора было. В этот третий день массы охватило сильное волнение. Конечно, было очень много рабочих, не состоявших ни в каких организациях. Это были люди, привыкшие поступать, как им приказывал хозяин, или, вернее, принуждаемые к повиновению всем строем жизни с хозяевами во главе. Теперь этот строй рушился, и гнет хозяев упал с плеч этих несчастных. Казалось бы, ими теперь будут управлять лишь животные инстинкты и необузданные страсти, что могло привести ко всеобщей катастрофе. Несомненно, так бы и случилось, если бы широкие массы не были увлечены идеями социализма и не общались с убежденными социалистами, состоявшими в рабочих организациях.

Если бы нечто подобное разыгралось раньше, когда на работодателей смотрели как на естественных правителей народа и даже самый бедный и невежественный человек искал в них поддержки, подчиняясь в то же время грубой эксплуатации, последовало бы полное разрушение общества. Но долгий ряд лет, в течение которых рабочие научились презирать своих повелителей, положил конец их моральной зависимости, и они начали верить (как оказалось, это было кое-когда не безопасно) нелегальным руководителям, выдвинутым ходом событий. Правда, большинство из них были лишь номинальными вождями, но их имена оказали свое действие как сдерживающее начало.

Впечатление, произведенное известием об освобождении Комитета, дало правительству передышку, так как было встречено с большой радостью не только рабочими, но даже зажиточными классами. Они увидели в этом отсрочку всеобщего крушения, которого многие опасались, сваливая всю вину на слабость правительства. В этот момент они были, пожалуй, правы.

--Что вы имеете в виду?--спросил я--Что могло сделать правительство? Мне кажется, всякое правительство оказалось бы совершенно беспомощным при таком кризисе.

--Я не сомневаюсь,--ответил Хаммонд,--что с течением времени обстоятельства так или иначе привели бы к тому же положению вещей. Но если бы правительство могло располагать армией, как настоящей воинской силой, и воспользовалось ею по стратегическому плану, как поступил бы какой-нибудь генерал, принимая народ за открытого врага, в которого нужно стрелять, как только он появится, оно, вероятно, одержало бы победу.

--Но разве солдаты согласились бы действовать так против народа?--спросил я.

--Из всего, что я слышал,--ответил старик,--можно заключить, что они пошли бы против народа, если бы встретились с отрядами вооруженных людей, хоть плохо, но организованных. Можно также думать что до Трафальгарского побоища они готовы были стрелять в безоружную толпу, хотя социалисты и вели среди них усиленную агитацию. Они опасались, что у безоружных на вид людей может оказаться взрывчатое вещество, так называемый «динамит». Рабочие накануне событий якобы громко хвастались этим средством борьбы. Впоследствии выяснилось, что динамит был малопригоден для военных действий. Конечно, офицеры раздували этот страх до крайности, так что рядовые, вероятно, считали, что вовлечены в отчаянную борьбу с людьми, действительно вооруженными, чье оружие тем страшнее, что оно невидимо. Во всяком случае, после памятной бойни было сомнительно, будут ли регулярные войска стрелять в безоружную или даже вооруженную толпу.

--Регулярные войска?--спросил я.--Значит, помимо них, еще кто-то выступал против народа?

--Да,--ответил Хаммонд,--мы к этому сейчас подойдем.

--Я слушаю,--сказал я,--мне лучше не прерывать вашего рассказа: время уходит.

--Правительство,--сказал Хаммонд,--вступило в переговоры с Комитетом, так как считало, что момент чрезвычайно опасный. Оно послало уполномоченного для переговоров с людьми, которые завладели умами народа, тогда как законные правители имели власть лишь над жизнью людей. Мне нет надобности входить в подробности условий перемирия между двумя высокими договаривающимися сторонами: правительством Великобритании и «кучкой рабочих» (как их презрительно называли враги).

Среди рабочих было немало способных людей, хотя, как я уже говорил, наиболее талантливые еще не стали признанными вождями. В результате все предъявленные требования народа пришлось принять. Теперь видно, что большинство из этих пунктов не стоило ни выдвигать, ни отвергать. Но в то время они казались очень существенными: они были символом возмущения против ненавистной системы, которая начинала разваливаться. Впрочем, одно из требований было исключительно важным. Правительство долго старалось его отклонить, но так как оно имело дело не с дураками, ему пришлось в конце концов уступить. Это было требование признать и формально утвердить Комитет общественного спасения и все органы, которые находились под его покровительством. Оно означало, во-первых, амнистию «мятежникам», крупным и малым, которые не должны были подвергаться преследованию, если они прямо не призывали к гражданской войне, и, во-вторых,--продолжение организованной революции. Лишь один пункт правительство отстояло: устрашающее революционное название было отменено, и Комитет общественного спасения со всеми его разветвлениями стал действовать под вполне приличным названием Примирительного совета и его местных отделений. Под этим именем Комитет возглавил народ в гражданской войне, которая вскоре разыгралась.

--О,--воскликнул я, немного удивленный,--значит, гражданская война продолжалась, несмотря на все, что произошло?!

--Да, так было,--сказал он--В сущности, это легальное признание и сделало возможной гражданскую войну в обычном смысле этого понятия. Борьба перестала быть простой бойней, с одной стороны, и упорством и забастовками--с другой.

--Можете ли вы сказать мне, каким путем шла война?--спросил я.

--Да,--ответил он,--свидетельств о ней сохранилось сколько угодно. Я передам вам вкратце их сущность.

Как я уже говорил, сторонники реакции не доверяли рядовым солдатам. Офицеры же были готовы на все, так как в своем большинстве принадлежали к категории самых тупых людей в стране. Какие бы меры ни предпринимало правительство, значительная часть людей из высших и средних классов жаждала поднять контрреволюцию, ибо коммунизм, который маячил теперь впереди, казался им совершенно неприемлемым. Банды молодых людей, подобные тем «мародерам», о которых я вам уже говорил, вооружившись и организовавшись, начали при всяком удобном случае устраивать уличные стычки, нападая на граждан. Правительство не помогало им, но и не усмиряло их, надеясь, что это может принести ему какую-нибудь выгоду. Эти «друзья порядка», как их называли, достигнув вначале кое-какого успеха, осмелели. К ним присоединились многие офицеры из армии, с их помощью они завладели различного рода военным снаряжением.

Их тактика в значительной мере заключалась в том, что они устанавливали охрану на больших заводах и даже оккупировали их. Например, одно время они занимали весь город Манчестер, о котором я вам уже говорил. Теперь по всей стране шла с переменным успехом своего рода партизанская война, и правительство, которое на первых порах старалось не замечать этой борьбы или усматривало в ней мелкую смуту, окончательно объявило себя на стороне «друзей порядка» и присоединило к их отрядам все те регулярные части, которые ему удалось собрать. Оно сделало отчаянное усилие, чтобы одержать верх над «мятежниками», как снова их стали называть и как они сами себя называли.

Но было слишком поздно. Все идеи мира на основе компромисса отвергались обеими сторонами. Люди ясно видели, что концом будет либо полное рабство для всех, кроме привилегированных классов, либо строй жизни, основанный на равенстве и коммунизме. Медлительность, безнадежность и, я бы сказал, малодушие последнего столетия уступили место ожесточенному, неукротимому героизму революционного периода. Я не утверждаю, что люди этого периода предвидели ту жизнь, которую мы теперь ведем, но массами двигало общее стремление к основам этой жизни, и многие ясно видели за отчаянной борьбой тот мир и покой, которым она должна была завершиться. Те люди, что стояли за свободу, не были, я думаю, несчастны, хотя их обуревали надежды и опасения, а иногда терзали сомнения и противоречия, порожденные чувством долга.

--Но как революционеры вели войну? На чем они основывали свои надежды?

Я задал этот вопрос, желая вернуть старика к непосредственному изложению истории и вывести его из задумчивости, столь естественной для человека его возраста.

--Ну что ж,--ответил Хаммонд,--у них не было недостатка в организаторах. В то время многие мыслящие люди отбрасывали все заботы о житейских делах и, вдохновляясь борьбой, находили в себе необходимую энергию. На основании всего, что я читал и слышал, я очень сомневаюсь, чтобы люди, обладающие

административными талантами, выдвинулись из числа рабочих без этой, столь ужасной, гражданской войны. Во всяком случае, война шла, и скоро нашлись вожди, которые были намного выше наиболее способных людей в лагере реакционеров. И, надо сказать, у рабочих не было затруднений с материалом для пополнения их армии: в простых солдатах пробуждался революционный инстинкт и побуждал лучшую часть их переходить на сторону народа. Но главный фактор успеха революционеров заключался в том, что там, где рабочий люд не был принуждаем к этому силой, он работал не на реакционеров, а на «мятежников». Реакционеры не могли заставить людей работать на них за пределами тех районов, где они еще были всемогущи. Но даже там им постоянно приходилось бороться с беспорядками. Везде их встречали обструкцией и злобными взглядами. Не только руководство армии выбилось из сил от затруднений, с которыми ему приходилось сталкиваться, но и гражданские лица, сочувствовавшие реакции, были настолько издерганы и подавлены ненавистью к ним, мелкими неурядицами и неполадками, что жизнь стала для них невыносимой. Некоторые из них умерли от этих тягот, другие покончили самоубийством. Конечно, большинство этих людей принимало активное участие в ожесточенной борьбе на стороне реакции и находило в этом некоторое забвение.

В конце концов многие тысячи реакционеров, не выдержав напряжения, сдались и подчинились «мятежникам», а так как число последних все возрастало, всем стало ясно, что безнадежное когда-то дело теперь торжествовало, безнадежной же оказалась система рабства и классовых привилегий.

### *Глава XVIII* **НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ**

--Итак,--сказал я,--вы вышли победителями из всех ваших невзгод. Был ли доволен народ новым порядком, когда он утвердился?

--Народ?--повторил за мной Хаммонд--Конечно, всякий был рад наступившему миру. Особенно когда оказалось, что после всех передраг населению, даже бывшим богачам, живется не так уж плохо. Что же касается тех, кто бедствовал всю войну, длившуюся около двух лет, то их положение улучшилось, несмотря на последствия борьбы. И когда водворился мир, уровень жизни очень скоро поднялся до уровня, близкого к благосостоянию. Большим затруднением было то, что прежние бедняки имели очень слабое представление о настоящих удовольствиях жизни: они, так сказать, слишком мало требовали, они не знали, как и чего требовать для себя от нового строя. Может быть, это даже было хорошо, что необходимость восстановления разрушенного войной заставила людей работать вначале почти так же упорно, как и до революции. Все историки сходятся на том, что никогда не было войны, уничтожившей столько ценностей, столько изделий промышленности и орудий производства, как эта гражданская война.

--Это меня удивляет,--сказал я.

--Удивляет? Не понимаю почему,--промолвил Хаммонд.

--Да потому, что партия порядка, наверное, смотрела на все ценности как на свою собственность и берегла ее от рабов в надежде на свою победу. С другой стороны, «мятежники» сражались как раз за обладание этими богатствами. И я склонен думать, что, убедившись в близости своего торжества, они стали особенно осторожны и старались ничего не разрушать, ожидая, что скоро все перейдет в их руки.

--Нет, события пошли так, как я уже вам рассказывал,--возразил старик.--Когда партия порядка пришла в себя от первого замешательства и удивления, или, лучше сказать, когда она наконец поняла, что, несмотря ни на что, будет побеждена, она сражалась с большим озлоблением и мало что щадила в борьбе с врагом, лишившим ее всех радостей жизни. Что же касается «мятежников», то, как я упоминал, когда разразилась настоящая война, им было не до того, чтобы спасать жалкие остатки ценных вещей. Они говорили: пусть лучше страна потеряет все, кроме храбрых людей, лишь бы она не попала в прежнее рабство!

Старик помолчал, задумавшись, потом продолжал:

--Когда конфликт по-настоящему разыгрался, тогда только стало ясно, как мало стоил старый мир неравенства и рабства. Понятно ли вам, что это значит? В эпоху, о которой вы, по-видимому, так много знаете, не было надежды, не было ничего, кроме унылых усилий вьючного животного под тяжестью ярма и ударами кнута. Но в последовавший период борьбы расцвела надежда. «Мятежники» ощутили в себе великую силу, способную построить новый мир на развалинах старого, и они это сделали!--сказал старик, и глаза его сверкнули из-под нависших бровей.--А их противники немного узнали действительную жизнь с ее горестями, о которых они (я подразумеваю их класс) раньше не имели понятия. Короче говоря, обе боровшиеся стороны, рабочий и предприниматель, общими усилиями...

--...общими усилиями,--поспешил договорить я,--разрушили капитализм!

--Да, да, да!--подтвердил старик,--совершенно верно. Иначе и нельзя было его разрушить. Исключая лишь тот случай, когда все общество постепенно опускалось бы все ниже и ниже до состояния грубого варварства, но без его надежд и радостей. Конечно, сильное и быстродействующее средство оздоровления было наилучшим.

--Без сомнения,--сказал я.

--Да,--подтвердил старик,--мир испытал второе рождение. Как могло это произойти без трагедии? Рассудите сами. Дух нового времени--нашего времени--должен стать источником наслаждения в жизни. Страстная и гордая любовь к самой плоти земли, подобная чувству любовника к прекрасному телу любимой женщины,--вот, повторяю, что должно было стать теперь духом времени. Все другие виды мироощущения были исчерпаны. Бесконечное стремление к критике, безудержное любопытство, направлявшие дела и мысли человека, как это было во времена древних греков, для которых познание было не средством, а целью,--ушли безвозвратно. Ни малейшего желания возвысить человека не было и в так называемой науке девятнадцатого столетия, которая, как вы должны знать, была вообще лишь придатком к капиталистическому строю, а нередко даже придатком к полиции этого строя. Несмотря на кажущуюся значительность, наука эта была ограничена и робка, так как не верила в самое себя. Она была порождением и единственной отрадой этого унылого времени, делавшего жизнь такой горькой даже для богатых. И это безнадежное уныние, как вы могли видеть своими собственными глазами, развеял великий переворот. Ближе к нашим взглядам был дух средних веков: рай в небесах и загробная жизнь казались настолько реальными, что стали для людей как бы частью их повседневной жизни на земле, которую они любили и украшали, несмотря на аскетическую доктрину их религии, предписывавшую им презирать все земное.

Но и это мировоззрение с его несокрушимой верой в рай и ад, как в две страны, в одной из которых предстоит жить, также исчезло. Теперь мы словом и делом утверждаем веру в вечную жизнь человечества и каждый день этой жизни прибавляем к малому запасу дней, подаренных нам нашим индивидуальным опытом. Следовательно, мы счастливы! Вы удивлены? В прошлое время людям твердили, что надо любить ближнего, исповедовать религию человечества и так далее. Но, видите ли, человека утонченного и возвышенного ума, способного оценить эти идеи, отталкивали от себя индивидуумы, составлявшие ту самую массу, которой его призывали поклоняться. И он мог избавиться от отвращения к ней, только создав условную абстракцию «человечества», имевшую мало исторического и реального отношения к роду человеческому. В его глазах он делился на ослепленных тиранов, с одной стороны, и безвольных, униженных рабов--с другой. А теперь--разве трудно принять религию преклонения перед человечеством, когда мужчины и женщины, которые составляют его, свободны, счастливы, деятельны и, в большинстве случаев, отличаются физической красотой? Они окружены красивыми предметами, произведениями своего труда, и природой, улучшенной, а не испорченной соприкосновением с человеком. Вот что сделал для нас этот век!

--Все это мне кажется похожим на истину и подтверждается картинами вашей обыденной жизни, которые я наблюдал. Не можете ли вы теперь рассказать мне о ходе прогресса после периода борьбы.

--Я мог бы рассказать вам столько, что у вас не хватило бы времени меня выслушать. Но я по крайней мере позволю себе остановиться на одном из главных затруднений, которое нужно было преодолеть. Когда люди после войны начали вновь переходить к спокойной жизни и труд их почти возместил разрушения, принесенные войной, нас охватило нечто вроде разочарования. Нам казалось, что сбываются пророчества некоторых реакционеров, утверждавших, что наши стремления и успехи придут к концу, как только мы достигнем некоторого уровня благоустройства жизни. Но в действительности прекращение соперничества как стимула к старательному труду несколько не нарушило производства необходимых обществу предметов. Оставалось еще опасение, что люди, располагая чрезмерным досугом, обленятся и утратят ясность творческой мысли. Впрочем, эта мрачная туча только погрозила нам и прошла мимо. Вероятно, по тому, что я рассказал вам раньше, вы можете догадаться о средстве, которое убергло нас от подобного бедствия. Надо помнить, что многие предметы прежнего производства--убогие товары для бедняков и предметы безудержной роскоши для богачей--перестали выделяться. В то же время чрезвычайно расширилось производство предметов «искусства». Само это слово потеряло у нас старый смысл, так как искусство стало необходимым элементом работы каждого человека, занятого в производстве.

--Как?--удивился я--Неужели среди отчаянной борьбы за жизнь и свободу люди находили время и возможность работать в области искусства?

--Вы не должны думать,--сказал Хаммонд,--что новые формы искусства основывались главным образом на воспоминаниях об искусстве прошлого. Как это ни странно, гражданская война была гораздо менее разрушительна для искусства, чем для других сторон жизни. Искусство, существовавшее в старых формах, вновь чудесно ожило в последний период борьбы. Особенно это касается музыки и поэзии.

Искусство, или «работа-удовольствие», как правильнее было бы говорить, выросло как-то само собой. У людей, больше не принуждаемых к непосильному и безысходному труду, пробудился инстинкт прекрасного, стремление выполнять свою работу как можно лучше. Через некоторое время у людей как бы проснулось увлечение красотой, и они принялись--сначала грубо и неумело--украшать произведения своих рук. А когда это вошло в обиход, художественное качество изделий стало быстро повышаться.

Всему этому способствовало, с одной стороны, уничтожение убожества и грязи, к которым наши не столь давние предки относились так спокойно, а с другой--досужая, но не одуряюще однообразная сельская жизнь, которая развивалась все шире и (как я уже сказал раньше) сделалась для нас обычной.

Так, мало-помалу мы начали вносить радость в наш труд. А осознав эту радость, сроднились с ней. Тем самым все было завоевано! И мы стали счастливы. Пусть так и будет навеки!

Старик погрузился в раздумье, как мне казалось, не без оттенка меланхолии. Но я не хотел мешать ему. --Дорогой гость,--чуть вздрогнув, внезапно сказал он,--вон идут Дик и Клара, чтобы увезти вас отсюда. Наступает конец нашей беседы, чем вы, я полагаю, не будете особенно огорчены. Долгий день тоже приходит к концу, и вам предстоит приятно поездка обратно в Хэммерсмит.

### *Глава XIX* **ОБРАТНЫЙ ПУТЬ В ХЭММЕРСМИТ**

Я ничего не ответил, так как не был расположен к любезностям после нашего серьезного разговора. В сущности, я предпочел бы продолжить беседу со стариком, который был способен в какой-то мере понять привычные мне взгляды на жизнь, чем иметь дело с молодежью. Несмотря на все их доброе ко мне отношение, я чувствовал, что для нового поколения я существо с другой планеты. Однако я постарался улыбнуться молодой паре как можно приветливее, Дик ответил на мою улыбку и сказал:

--Итак, гость, я рад заполучить вас обратно и убедиться, что вы с моим дедом не договорились до того, что попали оба в другой мир. Слушая валлийцев, я подумал, что вдруг вы за время моего отсутствия бесследно исчезли, и представил себе такую картину: мой дед сидит один в зале, глядя перед собой, и внезапно обнаруживает, что довольно долго разглагольствовал в одиночестве.

От этих слов мне стало не по себе, так как перед моими глазами мгновенно возникла картина мелких дряг и жалкой трагедии жизни, которую я на время покинул. Мне вспомнилась, как видение прошлого, вся тоска моя по мирному отдыху и покою, и мне ненавистна была мысль вернуться опять к тому же. Но старик сказал:

--Не беспокойся, Дик! Во всяком случае, я говорил не с пустотой, а с нашим новым другом. Кто знает, может быть, я говорил даже не с ним одним, а со многими людьми. Может быть, наш гость когда-нибудь возвратится туда, откуда приехал, и привезет от нас жителям той страны весть, которая послужит на пользу им, а значит, и нам.

Дик, по-видимому, был в замешательстве.

--Дед,--сказал он,--мне не совсем ясен смысл ваших слов. Я могу только выразить надежду, что гость нас не покинет. Ведь он не такой человек, каких мы привыкли видеть вокруг себя. Он заставляет нас невольно задумываться о многом. Вот я теперь чувствую, что, потолковав с ним, стал гораздо лучше понимать Диккенса.

--Это правильно,--подтвердила Клара,--и я уверена, что гость у нас через несколько месяцев помолодеет. Мне хотелось бы посмотреть, как он будет выглядеть, когда на лице его разглядятся морщины. Разве вы не думаете, что с нами он станет моложе?

Старик покачал головой, пристально посмотрел на меня, но ничего не ответил. Мы немного помолчали.

--Дед,--сказала вдруг Клара,--не знаю, в чем дело, но меня что-то тревожит. Я чувствую, будто должно произойти какое-то печальное событие. Вы говорили с гостем о прошлых бедах и жили несчастной жизнью прошлого. Это осталось в атмосфере вокруг нас. Словно мы к чему-то стремимся, но не можем достигнуть.

Старик ласково улыбнулся ей.

--Дитя мое, раз так, иди и живи настоящим; и ты скоро освободишься от этого чувства.--Потом он обратился ко мне:--Помните ли вы, гость, что-нибудь в этом роде, там, в стране, откуда вы приехали?

Влюбленные тем временем отошли в сторону и тихо беседовали, не обращая на нас внимания, и я ответил понизив голос:

--Да, ясный праздничный день, когда я был счастливым ребенком--у меня было все, о чем я мог мечтать.

--Да, да,--сказал Хаммонд.--Помните, вы пошутили, что я переживаю второе детство мира? Вы увидите, как счастлив этот мир, и сами будете счастливы в нем--некоторое время.

Мне опять не понравилось это плохо скрытое предостережение, И я начал усиленно вспоминать, как я, собственно, попал к этим удивительным людям. Но старик бодрым голосом воскликнул:

--Ну, детки, уведите нашего гостя и займитесь им. Это ваше дело--разгладить ему морщины и успокоить его мысли. Его судьба не была такой светлой, как ваша! Прощайте, гость!

И он горячо пожал мне руку.

--До свиданья,--промовил я,--и спасибо вам за все, что вы мне рассказали. Я приеду опять навестить вас, как только вернусь в Лондон. Можно?

--Да,--ответил он,--конечно, приезжайте, если у вас будет возможность.

--Это случится не так скоро,--весело вмешался Дик,--потому что, когда мы уберем сено выше по Темзе, я предполагаю в промежутке между сенокосом и жатвой совершить с гостем небольшое путешествие и посмотреть, как живут наши друзья на севере. Во время уборки урожая мы как следует поработаем, лучше всего--в Уилтшире. Нашему гостю полезно будет пожить на открытом воздухе. А я получу хорошую закалку.

--Но ты возьмешь меня с собой, Дик?--сказала Клара, кладя свою красивую руку ему на плечо.

--Как же иначе!--пылко воскликнул Дик.--Мы постараемся, чтоб каждый вечер ты ложилась спать утомленная работой. Ты и сейчас прекрасна, а тогда ты еще похорошеешь,--у тебя загорят шея и руки, а все тело, прикрытое платьем, останется белым, как лилия! Все тревожные мысли, дорогая, вылетят у тебя из головы. Все заботы пройдут. Неделя на сенокосе принесет тебе огромную пользу.

Молодая женщина мило покраснела--не от смущения, а от удовольствия, а старик со смехом сказал:

--Гость, я вижу, вы будете чувствовать себя отлично. Эти двое не станут слишком надоедать вам. Они так заняты друг другом, что вы, вероятно, часто будете предоставлены самому себе. В конце концов это самый приятный для гостя способ заботы о нем. И не бойтесь быть лишним: этим птичкам приятно сознавать, что поблизости есть верный друг, к которому можно обращаться, чтобы в спокойной дружеской беседе умерять безудержные порывы любви. Сам Дик, а еще больше Клара, любят иногда поговорить. Вы ведь знаете, что влюбленные только воркуют и разговаривают лишь в случае каких-либо неприятностей. Прощайте, гость, и будьте счастливы!

Клара подошла к старому Хаммонду, обвила руками его шею и, сердечно поцеловав, сказала:

--Милый, старый дед, вы можете дразнить меня, сколько вам угодно! Скоро мы снова увидимся. И будьте уверены, мы постараемся, чтобы наш гость был счастлив, хотя в ваших словах есть, конечно, доля правды.

Я еще раз пожал руку старику, и мы вышли через галерею на улицу, где нас уже ждала наша Среброкудрая. За ней хорошо присматривали: мальчуган лет семи держал вожжи и торжественно поглядывал на нее. На лошадке верхом сидела девочка лет четырнадцати, придерживая трехлетнюю сестренку, примостившуюся впереди нее; за спиной старшей девочки пристроилась другая сестренка на год-два старше мальчугана. Девочки ели вишни и между делом хлопывали по спине Среброкудрую, которая добродушно принимала их ласку. Однако при появлении Дика, лошадь насторожилась. Девочки спустились на землю, подбежали к Кларе и зашебетали, прильнув к ней. Мы все трое сели в экипаж. Дик тряхнул вожжами, и мы двинулись. Среброкудрая бежала ровной рысью под прекрасными деревьями лондонских улиц. Благоухание наполняло свежий вечерний воздух. Время приближалось к закату.

Мы не могли быстро подвигаться вперед из-за многочисленной толпы гуляющих в этот прохладный вечерний час. Вид пестрой толпы заставил меня вновь внимательно присмотреться к внешности этих непривычных мне людей. И должен признаться, что мой вкус, воспитанный на мрачных, серых или коричневых, тонах одежды девятнадцатого века, отвергал эту яркость нарядов. Я даже отважился сказать об этом Кларе. Мои слова удивили и слегка задели ее.

--Какая же тут беда?--возразила она.--Они не заняты сейчас грязной работой, а развлекаются, пользуясь чудесным вечером. Тут ничто не может испортить их одежды. Посмотрите, какая прелестная картина! И, право, в их костюмах нет ничего кричащего.

Конечно, она была права: многие были одеты в цвета довольно скромные, хотя и живописные, и сочетание красок было безупречно в своей гармонии.

--Да, да, это так,--сказал я.--Но как может каждый позволить себе носить такую дорогую одежду? Вот идет человек средних лет, в сером костюме, и я отсюда вижу, что его костюм сшит из тонкой шерстяной материи и украшен шелковой вышивкой.

--Он мог бы,--возразила Клара,--одеться и в поношенное платье, если б захотел и если б не боялся оскорбить этим чувства других.

--Но скажите мне все-таки,--настаивал я,--как люди могут позволить себе такую роскошь?

Не успел я произнести эти слова, как понял, что повторил прежнюю свою ошибку. Дик затрясся от смеха. Однако он не сказал ни слова и предоставил меня на милость Клары.

--Я не понимаю,--сказала она,--что вы говорите. Конечно, мы можем себе это позволить, как же иначе? Было бы очень просто затрачивать ровно столько труда, чтобы носить удобную одежду. Но нам этого недостаточно. За что вы нас порицаете? Неужели вы думаете, что мы отказываем себе в еде, ради возможности красиво одеваться? Или вы находите что-нибудь дурное в том, что нам нравится видеть прекрасную одежду на прекрасном теле. Ведь и первобытные люди старались отделявать шкуры оленя или выдры как можно лучше. Но что с вами?

Я склонил голову под этим натиском и пробормотал какое-то извинение. Мне следовало понять, что народ, поголовно увлеченный архитектурой, должен заботиться об украшении своего платья. Между прочим, покрой их одежды (отвлекаясь от ее цвета) был так же красив, как и удобен. Платье хорошо облегало тело, не скрывая и не подчеркивая его форм.

Клара, скоро смягчилась. И когда мы ехали к упомянутому ранее лесу, она сказала своему возлюбленному:

--Вот что, Дик: теперь, когда наш Хаммонд-старший уже видел гостя в его странном платье, я думаю, мы должны подыскать для него что-нибудь более подходящее, прежде чем завтра отправимся в путь. Если мы этого не сделаем, нам придется отвечать на бесконечные расспросы о его одежде и о том, откуда он приехал. Кроме того,--лукаво добавила она,--одевшись сам понарядней, он перестанет осуждать нас за наше ребячество и трату времени на прихорашивание.

--Отлично, Клара,--сказал Дик.--Завтра утром он получит все, что ты... что он пожелает. Я присмотрю для него приличное платье, пока он будет еще спать.

## *Глава XX* **ОПЯТЬ ХЭММЕРСМИТСКИЙ ДОМ ДЛЯ ГОСТЕЙ**

Разговаривая так, мы ехали не спеша, вдыхая вечерние ароматы, и наконец прибыли в Хэммерсмит, где были радостно встречены нашими друзьями. Боффин, сменивший вчерашний костюм на новый, приветствовал меня с торжественной любезностью. Ткач хотел взять меня за пуговицу и расспросить, что говорил мне старый Хаммонд. Но он нисколько не рассердился и сохранил все свое добродушие, когда Дик потребовал, чтобы он дал мне передохнуть.

Энни крепко пожала мне руку и так внимательно осведомилась, хорошо ли я провел время, что я даже немного огорчился, когда наши руки разъединились. По правде сказать, она нравилась мне больше, чем Клара, которая всегда была немного начеку, между тем как Энни отличалась необыкновенно открытым нравом. Казалось, люди вокруг нее и вообще все окружающее--для нее источник огромного удовольствия.

У нас в этот вечер состоялось маленькое торжество: не только в мою честь, но, как я подозреваю, хотя об этом и не упоминалось,--в честь примирения Дика с Кларой.

Вино было отличное. Зал благоухал летними цветами. А после ужина и концерта (Энни, на мой взгляд, превосходила всех остальных певцов нежностью и чистотой голоса, а также выразительной манерой исполнения) мы принялись рассказывать по очереди разные истории, словно вернувшись к давно прошедшим временам, когда книг было мало и редко кто умел читать. Мы слушали друг друга в полумраке, освещенные только луной, свет которой струился сквозь прекрасные узорчатые стекла окон.

Я должен сказать, как вы, вероятно, заметили и сами, что мои друзья не часто ссылались на книги,--они не были очень начитанны, несмотря на утонченность их манер и большой досуг, которым они, по-видимому, располагали.

Действительно, когда Дик цитировал какую-нибудь книгу, он делал это с видом человека, совершившего подвиг. Он словно говорил: «Вы видите, я действительно это читал!»

Как быстро прошел вечер! Впервые в жизни мои глаза наслаждались красотой без чувства несоответствия между ней и действительностью, без страха разрушения этой красоты. А ведь такое чувство всегда наполняло меня раньше, когда я любовался прекрасными произведениями прошлых времен среди окружающей чудесной природы.

Искусство и картины природы, в сущности, плод многовековой наследственности, побуждающей человека создавать художественные произведения, а природу--принимать формы, выработанные для нее в продолжение многих столетий. Здесь я мог наслаждаться всем без раздумий о несправедливости и изнуряющем труде, на котором был построен мой досуг; о невежестве и скуке современной жизни, которые обостряли мой интерес к истории; о тирании и борьбе с ней, исполненной опасений и бедствий и ставшей моей романтикой. И если у меня все же была тяжесть на сердце, когда подошло время сна, то лишь из-за

смутного чувства страха перед тем, где я проснусь завтра утром. Но я отогнал от себя это чувство, лег в постель счастливым и через несколько минут погрузился в сон без сновидений.

## *Глава XXI* **ВВЕРХ ПО РЕКЕ**

Я проснулся прекрасным солнечным утром и, вставая с постели, вновь почувствовал вчерашние опасения, но они мгновенно исчезли, когда я, оглядев свою маленькую спальню, обнаружил рисунки на стенах, выполненные в бледных, но чистых тонах, с знакомыми мне стихотворными надписями. Я быстро облачился в синий костюм, который лежал тут же, заранее приготовленный. Он был так изящен, что, надев его я покраснел от волнующего чувства предвкушения праздника, которое я испытывал только в детстве, когда приезжал домой на летние каникулы.

Было еще очень рано, и я не ожидал увидеть кого-нибудь в зале, куда я прошел по коридору из своей комнаты. Однако я встретил там Энни, и она, уронив щетку, поцеловала меня, боюсь--только в знак дружеских чувств. Правда, она покраснела при этом, но, думаю, не от смущения, а от дружеского расположения ко мне. И тут же, подняв свою щетку, она возобновила уборку, кивнув мне как бы для того, чтобы я не стоял у нее на дороге. По правде сказать, мне было приятно наблюдать за ней. Кроме Энни, здесь находилось еще пять девушек, которые ей помогали. Их грациозными фигурами за этой легкой работой действительно можно было залобоваться, а их веселая болтовня и смех, когда они с большой ловкостью сметали пыль, звучали как музыка.

Переходя на другую сторону зала, Энни бросила мне несколько приветливых слов:

--Гость, я рада, что вы так рано поднялись, мы не стали бы вас будить. Наша Темза очаровательна июньским утром в такой ранний час, и было бы жаль, если бы вы пропустили это время! Мне сказали, чтобы я дала вам чашку молока и ломоть хлеба и проводила вас к лодке. Дик и Клара уже собрались. Подождите минутку, пока я подмету эту сторону зала.

Вскоре она опять отставила свою щетку, подошла, взяла меня за руку и вывела на террасу над рекой. Здесь на столике под ветвями мне были приготовлены молоко и хлеб--самый аппетитный завтрак, какого можно было пожелать. И пока я подкреплял свои силы, Энни сидела рядом со мной. Через минуту к нам подошли Дик и Клара в вышитом платье из легкого шелка, которое моим непривычным глазам показалось слишком ярким. Клара выглядела особенно красивой, посвежевшей. Сам Дик тоже был изящно одет в белый фланелевый костюм с изящной вышивкой. Здороваясь со мной, Клара чуть расправила платье и сказала, смеясь:

--Посмотрите, гость, мы теперь не менее нарядны, чем люди, которых вы вчера вечером склонны были бранить. Мы, право, не хотим, чтобы этот ясный день и цветы стыдились нас. Ну, побраните же меня!

--Ни в коем случае!--сказал я.--Вы оба точно рождены этим солнечным днем. И бранить вас, значит бранить его.

--Вы знаете,--сказал Дик,--сегодня особенный день, вернее--сейчас все дни особенные. Сенокос в некотором отношении лучше жатвы: в это время стоит обычно отличная погода. Если вы никогда не участвовали в сенокосе, вы не можете себе представить, какая это приятная работа. Женщины в поле так прекрасны,--произнес он, немного конфузясь.--Принимая во внимание сказанное, мы в праве украшать этот праздник.

--Разве женщины работают в шелковых платьях?--спросил я, улыбаясь.

Дик собирался серьезно ответить мне, но Клара закрыла ему рот рукой и сказала.

--Нет, нет, Дик, не объясняй слишком много, а то я подумаю, что ты сам стал, как твой дедушка. Пусть гость наблюдает, ему теперь недолго ждать, увидит сам.

--Да,--вмешалась Энни,--не слишком приукрашивайте картину, иначе гость разочаруется, когда поднимется занавес. А я этого не хочу. Но теперь вам пора в путь. Вы должны воспользоваться приливом и насладиться солнечным утром. Прощайте, гость!

Она опять без ложного смущения дружески поцеловала меня и этим чуть не отняла всякую охоту к путешествию. Но я поборол в себе подобное настроение, так как было ясно, что у такой очаровательной женщины, наверно, есть возлюбленный, подходящий ей по возрасту. Мы спустились по ступеням пристани и заняли места в красивой лодке, достаточно вместительной для нас и нашего багажа. И в ту минуту, когда мы уселись, Боффин и ткач явились проводить нас. Первый скрыл свою красивую фигуру под рабочим костюмом. На нем была шляпа с большими полями, которую он снял, чтобы помахать ею нам на прощанье с изяществом испанского идаляго. Дик оттолкнул лодку от берега и усердно заработал веслами. Хэммерсмит с его благородными деревьями и красивыми домами стал медленно удаляться от нас.

Пока мы плыли, я не мог удержаться от сопоставления обещанной Диком картины сенокоса с той, которую я помнил. Особенно ясно представились мне женщины на работе: выстроившись в длинный ряд, тощие, плоскогрудые и невзрачные, одетые в обтрепанные ситцевые платья, с безобразными, болтающимися на головах чепцами, они двигаются, неустанно и механически взмахивая косами... Как часто эта картина омрачала для меня прелесть июньского дня! Как часто я жаждал увидеть луга, пестреющие людьми в ярких одеждах, сливающимися в единую гармонию с изобилием щедрого лета, с бесконечным разнообразием и красотой его картин, с богатством его звуков и благоуханий.

Теперь мир стал старше, умнее, и мне суждено увидеть осуществление моей мечты!

## *Глава XXII*

### **ХЕМПТОН-КОРТ И ЦЕНИТЕЛЬ ПРОШЛОГО**

Мы продолжали путь. Дик греб легко и неутомимо, а Клара, сидя рядом со мной, любовалась его мужественной красотой и открытым добродушным лицом и, казалось, не думала ни о чем другом. Чем выше поднимались мы по реке, тем меньше отличалась Темза этих дней от Темзы, которую я помнил. Если отбросить вульгарность пригородных вилл богатых буржуа--биржевиков и им подобных,--нарушавшую в прошлое время красоту цветущих берегов,--это начало сельской Темзы было и тогда прекрасно. И когда мы скользили среди свежей и сочной летней зелени, мне чудилось, что молодость снова вернулась ко мне и я опять принимаю участие в одной из речных экскурсий, которыми я наслаждался в счастливые дни, когда еще не задумывался о том, что не все на свете хорошо.

Наконец мы достигли плеса. Там, на левом берегу реки, раскинулась прелестная деревня, старинные дома которой спускались к самой воде. Сюда подходил паром. За домами виднелись луга с разбросанными там и сям вязами, окаймленные высокими ивами. По правому берегу тянулся бечевник и открывалось свободное пространство перед рядом могучих старых деревьев, которые могли бы служить украшением большому парку. Но к концу плеса деревья все дальше отходили от реки, уступая место городку с красивыми домами причудливой архитектуры. Одни из них были новые, другие старые. Над домами возвышалась островерхая крыша большого кирпичного строения в стиле поздней готики и отчасти дворцовых построек Вильгельма Оранского. Это залитое солнечными лучами здание среди прекрасных окрестностей, на берегу сверкающей голубой реки, в которой оно отражалось, даже среди живописных строений нового счастливого времени пленяло взор своим особым очарованием. Опьяняющая волна ароматов, среди которых выделялся запах липы, дошла до нас из далеких садов, и Клара, встав со своего места, сказала:

--Дик, дорогой, не можем ли мы на сегодня остановиться в Хемптон-Корте, немного погулять с гостем в парке и показать ему эти милые старые здания? Может быть, именно потому, что ты жил так близко отсюда, ты очень редко водил меня в Хемптон-Корт.

Дик на минуту перестал грести и сказал:

--Так, так, Клара, ты сегодня что-то ленива! Я думал заночевать не раньше Шеппертона. Хочешь, мы сейчас сойдем, пообедаем в Корте, а часов в пять поедem дальше!

--Согласна,--сказала она,--так и сделаем. Но я хотела бы, чтобы гость провел час-другой в парке.

--Парк!--воскликнул Дик.--Да вся Темза--парк в это время года. Что до меня, то я предпочитаю лежать под вязом на краю пшеничного поля, чтобы пчелы жужжали над моей головой, а из борозды в борозду перекликались коростели. Это лучше любого парка в Англии! Кроме того...

--А кроме того,--прервала его Клара,--ты хочешь поскорее добраться до своей любимой верхней Темзы и показать, как под твоей косой быстро ложится скошенная трава.

Она с любовью смотрела на него и, наверно, мысленно видела его уже в поле. Вот он, великолепно сложенный юноша, шагает, мерно взмахивая косой. И она со вздохом посмотрела на свои красивые ножки, будто сравнивала свою хрупкую женскую красоту с его мужественной красотой, как это делают женщины, действительно любящие и не испорченные условностями в чувствах.

Что касается Дика, он долго смотрел на нее с восхищением и наконец сказал:

--Да, Клара, как меня тянет туда! Но что это? Нас относит течением.

Он снова налег на весла, и минуты через две мы уже стояли на усыпанном галькой берегу пониже моста, который, как вы легко можете себе представить, уже не был безобразным железным чудовищем, но красивым решетчатым сооружением из дуба. Мы прошли в Хемптон-Корт, прямо в большой зал, который я очень хорошо знал. Здесь были расставлены столы для обеда и все было устроено приблизительно так, как и в хэммермитском Доме для гостей.

После обеда мы прошли по старинным комнатам, где сохранились картины и гобелены. Ничто здесь особенно не изменилось, разве только что люди, которых мы встречали, казалось, чувствовали себя здесь, как

дома. И я тоже почувствовал, что этот великолепный старый дворец был моим в лучшем смысле этого слова. И моя радость прошлых дней, сливаясь с радостью сегодняшней, наполняла мою душу удовлетворением.

Дик, который, вопреки насмешкам Клары, знал дворец очень хорошо, сказал мне, что великолепные тюдоровские комнаты, в которых, как я помнил, жила придворная челядь, служили теперь для приезжих. Как ни прекрасна стала теперь архитектура и как ни украсилась вся страна, все же, по традиции, с этой группой зданий связывалась мысль о чем-то приятном и праздничном, и люди считали посещение Хемптон-Корта обязательной летней экскурсией, как и в те дни, когда Лондон был еще грязным и угрюмым. Мы вошли в комнаты, откуда открывался вид на старый сад, и были радушно приняты жившими там людьми, которые приветливо вступили с нами в разговор и смотрели с вежливым, но плохо скрываемым удивлением на мое странное для них лицо. Кроме этих приезжих и немногих постоянных обитателей Хемптон-Корта, мы видели на лугах близ сада много разбитых вдоль «Длинного водоема» пестрых палаток, вокруг которых расположились мужчины, женщины и дети. По-видимому, этих любителей природы радовала такая бивуачная жизнь со всеми ее неудобствами, которые они тоже превращали в развлечение.

Мы оставили Хемптон-Корт, этого старого друга, в намеченное время. Я сделал несколько слабых попыток взяться за весла, но Дик отверг их, не вызвав этим во мне особенной досады, так как я был достаточно занят, созерцая окружающее великолепие и следя за своими лениво текущими мыслями. Что касается Дика, то было совершенно естественно оставить его на веслах: он был силен, как лошадь, и наслаждался любым физическим упражнением. Нам с трудом удалось уговорить его остановиться, когда начало смеркаться и взшел месяц. Мы были как раз у Раннимеда. Причालив, мы стали искать место, где можно было бы разбить палатки (у нас их было две), когда к нам подошел старик, пожелал нам доброго вечера и спросил, есть ли у нас приют на эту ночь. Узнав, что мы не позаботились о ночлеге, он пригласил нас в свой дом. Мы не заставили себя долго просить и пошли с ним. Клара ласково взяла его за руку,--я заметил, она всегда держала себя так со стариками,--и, пока мы шли, сказала несколько общих фраз о том, как прекрасна погода. Старик резко остановился, посмотрел на нас и промолвил:

--Вам действительно нравится погода?

--Да,--с крайним удивлением ответила Клара.--А вам?

--Как сказать,--протянул он.--Когда я был моложе, такая погода мне нравилась. А теперь я предпочел бы прохладу.

Клара ничего не ответила и пошла дальше. Вечерняя темнота сгущалась вокруг нас. У подошвы холма мы подошли к изгороди. Старик открыл калитку и провел нас в сад, в конце которого мы увидели небольшой домик; в одном окошке горела свеча. Даже при неверном лунном свете, с которым смешивались последние отблески заката, мы могли видеть, что сад утопал в цветах, свежий аромат которых был так чудесно сладок, что, казалось, исходил из самого сердца прекрасного июньского вечера.

Мы все трое невольно остановились, и, Клара как-то особенно радостно воскликнула «о!»--словно птица, которая собирается запеть.

--В чем дело?--немного раздраженно спросил старик и потянул ее за руку.--Здесь нет собак. Может быть, вы наступили на шип и укололи себе ногу?

--Нет, нет, сосед,--сказала она,--но здесь так чудесно, так чудесно!

--Да, конечно,--ответил он.--И запах цветов приводит вас в восторг?

Она мелодично засмеялась, и мы присоединились к ней своими хриплыми голосами.

--А как же, сосед!--сказала она.--Разве вам не нравится?

--Право, не знаю,--ответил старик и добавил, как бы оправдываясь:--Должен сказать, что в половодье, когда река заливает весь Раннимед, здесь не так уж приятно.

--А я был бы рад побывать здесь в такое время,--воскликнул Дик.--Как великолепно можно было бы покататься под парусами по разлившейся реке в ясное январское утро!

--Да?--отозвался наш хозяин.--Не буду спорить с вами, сосед, не стоит. Лучше войдем в дом и поужинаем.

Мы прошли по мощеной дорожке среди роз и сразу очутились в очень уютной комнате, чистенькой, как новая безделушка, с панелями и резьбой. Но лучшим ее украшением была молодая девушка, светловолосая и сероглазая; ее лицо, руки и босые ноги покрывал темно-золотистый загар. Она была очень легко одета, но, очевидно, не из-за бедности, а просто ей так нравилось. Я сразу понял это, хотя старик и она были первыми местными жителями, которые мне встретились. Ее одежда была из шелка, а на руках сверкали браслеты, которые показались мне очень ценными. Девушка лежала на бараньей шкуре, брошенной у окна, но, как только мы вошли, вскочила и, заметив, что за стариком идут гости, захлопала в ладоши. Весело приплясывая и напевая, она провела нас на середину комнаты.

--Ну, что,--сказал старик,--ты довольна, Эллен?

Девушка подлетела к нему, обвила его руками и воскликнула:

--Да, я очень довольна! И ты тоже доволен, дедушка!

--Да, да,--сказал он,--я доволен, насколько умею быть довольным. Садитесь, пожалуйста, гости!

Его слова показались нам очень странными, особенно моим друзьям. Воспользовавшись тем, что хозяин и его внучка вышли из комнаты, Дик тихо сказал мне:

--Какой ворчун! Все еще попадают такие. В прежнее время--говорили мне--они были очень надоедливы.

Старик между тем вернулся и сел рядом с нами, громко вздыхая, чтобы привлечь наше внимание. Однако в эту минуту в комнату вошла девушка с закуской, и старик не успел ничего сказать,--мы все слишком были голодны, а я, кроме того, занялся наблюдением за внучкой, хорошенькой как картинка.

Хотя угощение и отличалось от того, что нам подавали в Лондоне, оно было тем не менее очень вкусным. Старик, однако, неодобрительно посматривал на превосходных окуней и другие блюда на столе.

--Гм, окуни!--сказал он.--Мне очень жаль, что мы не можем предложить вам что-нибудь получше. Когда-то можно было привезти из Лондона хорошую лососину. Но теперь настало такое скверное, скудное время!

--Мы могли бы достать лососины и теперь,--с усмешкой заметила девушка,--если бы только знали, что будут гости.

--Это мы виноваты, соседи, что не привезли ее с собой,--добродушно заметил Дик.--Но если и настали скверные времена, то по крайней мере не для окуней: вот этот франт, что посередине, весил добрых два фунта, когда щеголял перед пескарями своими темными полосами и красными плавниками. А что касается лососины, сосед, то вот мой друг, который приехал из-за границы, был вчера поражен, когда я сказал ему, что у нас в Хэммермите ее хоть отбавляй. Я что-то нигде не слышал про скудные времена.

Дик, по-видимому, чувствовал себя несколько неловко. Но старик, повернувшись ко мне, очень любезно сказал:

--Ах, сэръ, я очень рад видеть человека из-за моря, и я в самом деле хотел бы знать, не лучше ли живется в стране, откуда вы приехали, и не энергичнее ли там работают, не освободившись вполне от соперничества. Я, знаете ли, прочел не одну старинную книгу, и они, безусловно, написаны гораздо сильнее тех, что пишутся теперь. Неограниченное соревнование было условием и для тогдашних авторов. Если бы мы не знали об этом из истории, то могли бы узнать из самих книг. В них господствует жажда приключений и видна способность извлекать добро из зла, чего совершенно нет в нашей литературе, и я невольно думаю, что наши моралисты и историки очень преувеличивают несчастья прошлых дней: ведь тогда были созданы такие великолепные произведения ума и воображения.

Клара слушала его с блестящими глазами, возбужденная, готовая с ним согласиться. Дик хмурился и казался еще более смущенным, но ничего не говорил. Старик же, постепенно разгораясь, оставил свою насмешливую манеру и говорил с полным убеждением. Однако, прежде чем я мог высказать то, что успел обдумать, вмешалась внучка нашего хозяина:

--Книги, книги! Все только книги, дедушка! Когда же наконец ты поймешь, что для нас главное--это мир, в котором мы живем, мир, часть которого мы составляем и который мы всегда будем любить всей душой. Посмотри,--сказала она, распахнув окно в безмолвный ночной сад, где темные тени чередовались с полосами лунного света и пробегал трепетный летний ветерок.--Посмотри: вот наши книги теперь! И вот еще,--добавила она, подойдя к обоим влюбленным и положив руки им на плечи.--И вот этот заморский гость с его знаниями и опытом. И даже ты, дедушка (улыбка пробежала по ее лицу), со всей своей воркотней и желанием вернуться к «доброму старому времени», когда, насколько я понимаю, такой безобидный ленивый старик, как ты, скорее всего погиб бы с голоду или платил бы солдатам, чтобы отнимать у народа его добро--пищу, одежду и жилье. Да, вот наши книги! Если же мы хотим большего, разве мы не находим его в тех великолепных зданиях, которые мы воздвигаем по всей стране (а я знаю, что в прежние времена ничего подобного не было), в зданиях, где человек может трудиться с увлечением, вкладывая все, что в нем есть лучшего, в свою работу и заставляя свои руки отражать движения ума и души.

Она остановилась, а я, не в силах оторвать от нее глаз, подумал, что если она--книга, то картинка в этой книге прелестна: румянец на нежных смуглых щеках и серые глаза, как звезды, приветливо глядевшие на нас.

Помолчав, она заговорила снова:

--А что касается твоих книг, дедушка, то они годились для тех времен, когда образованные люди находили мало других удовольствий и когда им нужно было скрашивать чужой, выдуманной жизнью мрачное убожество своей собственной. Но я скажу прямо: несмотря на умные мысли, силу и мастерство рассказа, в этих книгах есть что-то отталкивающее. Некоторые из них действительно не лишены известного сочувствия к

тем, кого в исторических трудах называют «бедняками» и о чьих невзгодах мы имеем кое-какое понятие. Но мало-помалу это сочувствие тушевувается, и к концу книги мы должны радоваться, видя героя и героиню живущими счастливо на благословенном острове, за счет несчастья других. И все это--после длинного ряда мнимых горестей, которые они сами себе причиняют и описывают нам, без конца копясь в своих чувствах и стремлениях. А жизнь тем временем идет своим путем: люди пахут и сеют, пекут и строят вокруг этих бесполезных созданий.

--Ну вот,--сказал старик, снова принимая сухой и угрюмый тон,--это ли не красноречие! Вероятно, оно вам понравилось?

--Да,--решительно объявил я.

--А теперь,--сказал он,--когда буря этого красноречия немного улеглась, вы, может быть, ответите мне на несколько вопросов, конечно, если пожелаете,--добавил он, вспомнив о правилах вежливости.

--Какого рода вопросы?--беспокойно спросил я, так как, должен признаться, любуюсь необычной, какой-то дикой красотой Эллен, я плохо слушал его.

--Во-первых,--начал старик,--простите мне этот допрос и скажите, существует ли прежняя конкуренция в той стране, откуда вы прибыли?

--Да, там она в полной силе,--сказал я, а сам с опаской подумал, перед какими новыми трудностями поставит меня мой ответ.

--Вопрос второй,--продолжал старый брюзга,--не делает ли это вас более свободными, более деятельными, одним словом, более здоровыми и счастливыми?

Я улыбнулся.

--Вы не говорили бы так, если бы имели хоть слабое представление о нашей жизни. По сравнению с нами вы живете здесь как в раю.

--Рай!--усмехнулся старик.--Вам нравится райская жизнь?

--Да,--сказал я довольно резко, так как его взгляды начали раздражать меня.

--А я далеко не убежден, что мне понравилось бы в раю,--заметил старик.--Я думаю, можно проводить время лучше, чем сидя на сыром облаке и распевая гимны.

Я был задет такой нелогичной манерой спорить.

--Сосед, скажу вам кратко и без метафор,--возразил я,--в стране, откуда я приехал и где все еще действует закон конкуренции, создавшей те литературные произведения, которые вы так хвалите, большинство людей чрезвычайно несчастны. Здесь же люди, мне кажется, чрезвычайно счастливы.

--Не обижайтесь, гость, не обижайтесь!--постарался он меня успокоить.--Но позвольте спросить, нравится ли вам здешний уклад жизни?

Такое упорство в высказывании своих мыслей заставило нас всех искренне рассмеяться, и даже он сам усмехнулся украдкой. Тем не менее он вовсе не чувствовал себя побежденным и продолжал:

--Насколько я слышал о прошлом, молодая и прекрасная женщина, подобная Эллен, была бы там «леди», как называли в старые времена. Ей не приходилось бы носить эти жалкие шелковые тряпки и загорать на солнце, как теперь. Что вы на это скажете?

Тут Клара, которая до этого все только помалкивала, вмешалась в разговор:

--Право, я не думаю, чтобы вы могли улучшить существующее положение или что оно нуждается в улучшении. Разве вы не видите, что Эллен прекрасно одета по этой теплой погоде? А что касается загара, то я сама не прочь немного загореть во время сенокоса, когда мы поднимемся вверх по реке. Посмотрите, ведь моя бледная кожа требует немного солнца.

Она отвернула рукав и положила свою руку рядом с рукой Эллен, которая сидела возле нее. По правде сказать, мне было забавно видеть, как Клара строит из себя утонченную даму: своим крепким сложением и свежестью кожи она не уступила бы любой сельской девушке.

Дик застенчиво погладил эту прекрасную белую руку и опустил на ней рукав. Клара вспыхнула от его прикосновения, а старик сказал, смеясь:

--Я думаю, это вам тоже нравится, а?

Эллен поцеловала свою новую подругу, и мы все сидели

некоторое время молча. Потом Эллен запела звонкую и мелодичную песню, пленив нас своим нежным и чистым голосом. Старый ворчун сидел, глядя на нес любящими глазами. Молодая чета тоже спела дуэтом, а затем Эллен проводила нас в маленькие спальни, благоухающие и чистые, как в старинных пасторалях.

Впечатления этого вечера совершенно погасили во мне страхи прошлой ночи и опасение проснуться снова в старом несчастном мире безрадостных удовольствий и надежд, омраченных боязнью.

*Глава XXIII*  
**РАННЕЕ УТРО У РАНИМЕДА**

Хотя утром было тихо и ничто не мешало мне спать, я все же не мог долго оставаться в постели, когда все кругом уже пробудилось и вопреки старому ворчуну мир казался таким счастливым! Я прошелся по комнатам и заметил, что, несмотря на ранний час, кто-то уже успел поработать в маленькой гостиной, так как все было убрано, мебель расставлена по местам и стол накрыт для утренней трапезы. Однако в доме еще никто не вставал, и я вышел на воздух. Пройдясь раз-другой по цветущему саду, я спустился на луг, к берегу реки, где стояла наша лодка, показавшаяся мне такой знакомой и милой.

Я направился берегом вверх по течению, наблюдая, как легкий туман, клубясь, уползает с реки. Вскоре солнечные лучи совсем его рассеяли. Я смотрел, как уклейки снуют в воде под ивами, где роится мошкара, добыча этих рыбешек, слушал, как плещутся то тут, то там крупные голавли, хватая зазевавшихся мотыльков, и чувствовал себя так, словно я вернулся к дням моего детства. Затем я снова подошел к лодке, побродил около нее минуты две-три и тихо пошел лугом к маленькому дому. Я заметил теперь, что на косогоре, в стороне от реки, было еще четыре почти таких же дома. Луг, по которому я шел, еще не поспел для покоса. По косогору в обе стороны от меня тянулся плетень, отделявший луг, на котором сейчас работали косари, прибега к тем же простым приемам, что и в дни моего детства. Невольно ноги понесли меня в том направлении, так как мне хотелось поближе посмотреть на косарей этих новых и лучших времен, а кроме того, я ожидал увидеть там Эллен. Я дошел до самого плетня и остановился, глядя через него на косарей, которые, выстроившись в ряд, ворошили сено, чтобы просушить его после ночной росы. По преимуществу это были молодые женщины, одетые, как и Эллен прошлым вечером, но только не в шелк, а в легкие шерстяные ткани, украшенные узорами. На мужчинах были ярко расшитые костюмы из белой фланели. Благодаря этим пестрым одеждам луг казался гигантской клумбой тюльпанов. Все работали неторопливо, но с упорством и ловкостью, и весь луг звенел веселыми голосами, подобно роще, наполненной птичьим щебетом.

Несколько человек подошли ко мне и приветствовали меня, крепко пожав мне руку. Спросив, откуда и когда я приехал, и пожелав мне удачи, они вернулись к своей работе. Эллен, к моему разочарованию, среди них не было. Но вдруг я увидел легкую фигуру женщины, идущей по склону холма в сторону нашего дома. Это была Эллен, она держала в руке корзинку. Когда она подходила к садовой калитке, оттуда вышли Дик и Клара и направились мне навстречу, оставив Эллен в саду. Мы втроем спустились опять к лодке, непринужденно беседуя, и задержались там недолго. Дику пришлось немного повозиться с вещами, так как раньше мы взяли с собой в дом только те вещи, которые могла испортить роса; затем мы снова пошли к дому. Но, приближаясь к саду, Дик остановил нас и, взяв меня за руку, сказал:

--Посмотрите-ка туда!

Я посмотрел через низкую изгородь и увидел Эллен. Она глядела на луг, защитив рукой глаза от солнца. Легкий ветер играл ее каштановыми волосами, а на ее загорелом лице, словно вобравшем солнечное тепло, как драгоценные камни сверкали глаза.

--Подумайте, гость,--сказал Дик,--разве это не похоже на одну из сказок братьев Grimm, о которых мы говорили в Блумсбери. Вот мы, двое влюбленных, странствуя по свету, пришли в волшебный сад и перед нами сама фея. Что она сделает для нас?

--А она добрая фея, Дик?--с сомнением спросила Клара.

--О да,--отозвался он,--и, как полагается в сказке, она была бы еще добрее, если бы не этот гном или лесной дух--наш ворчливый старичок.

Мы рассмеялись.

--Надеюсь, вы заметили,--сказал я,--что вы не включили меня в вашу сказку.

--Да,--ответил он,--это правда. Считайте, что на вас шапка-невидимка и вы можете видеть всех, сами оставаясь невидимым.

Эти слова больно меня задели, ведь я все время был неуверен, что действительно нахожусь в этой прекрасной, новой стране. Поэтому, чтобы не вышло еще хуже, я решил держать язык за зубами. Мы все вместе вошли в сад и направились к дому. Кстати, я заметил, что Клара, наверно, почувствовала контраст между собой, городской жительницей, и Эллен, прелестной девушкой из летней деревни. В это утро она, по примеру Эллен, оделась очень легко и обулась в легкие сандалии на босу ногу.

Старик добродушно приветствовал нас в гостиной и сказал:

--Ну что ж, дорогие гости, вы изучали наш край в неприкрашенном виде. Я думаю, ваши вчерашние иллюзии при дневном свете немного потускнели. Или вам по-прежнему нравится у нас?

--Очень,--твердо заявил я,--это одно из красивейших мест на нижней Темзе.

--О, так вы знаете Темзу?--удивился он. Я покраснел, заметив, что Дик и Клара смотрят на меня, и не знал, как ответить,--ведь один раз я уже проговорился, упомянув в разговоре с моими хэммерсмитскими друзьями, что знаю Эппингский лес. Я решил, что неопределенная фраза лучше прямой лжи поможет мне избежать осложнений, и поэтому сказал:

--Я уже посещал однажды вашу страну и побывал тогда и на Темзе.

--Так вот,--с любопытством заметил старик,--раз вы бывали в нашей стране, не находите ли вы, отбросив всякие теории, что она очень изменилась к худшему?

--Нисколько,--ответил я,--я нашел ее очень изменившейся к лучшему.

--Боюсь, что вы предубеждены в пользу той или иной теории,--сказал он.--Конечно, время, когда вы были здесь, настолько близко к нашим дням, что ухудшение не могло стать таким уж явным, ибо мы и тогда жили в основном при тех же условиях, что и теперь. Я имел в виду более раннюю эпоху.

--Одним словом,--заметила Клара,--это у вас возникла какая-то теория о произошедших переменах.

--У меня есть и факты,--продолжал упорствовать старик,--посмотрите сюда: с холма вы можете увидеть четыре маленьких коттеджа. А вот я наверняка знаю, что в старые времена, даже летом, когда мешала густая листва, вы могли разглядеть с того же места шесть больших и красивых домов. А выше по реке сады сменялись садами до самого Виндзора, и во всех этих садах были прекрасные виллы. Да, Англия кое-что значила в то время!

Тут меня наконец прорвало.

--Что следует из ваших слов?--воскликнул я.--Что вы уничтожили у себя обывательщину, прогнали проклятых холуев и теперь удобно и счастливо может жить каждый из вас, а не одни только отъявленные воры, которые всегда были столпами разврата и пошлости. Что же касается этой прелестной реки, то они подрывали, так сказать, ее духовную красоту и уничтожили бы ее физически, если бы не были выброшены вон!

После моего выпада наступило молчание. Но я, право, не мог удержаться от этих горячих слов, вспоминая, как сам в прежнее время на этих же берегах Темзы страдал от обывательской пошлости и всего, что ее порождало. Наконец старик заговорил совершенно спокойно:

--Мой дорогой гость, я решительно не понимаю, что вы хотите, собственно, выразить такими словами, как «обывательщина», «холуи» и «отъявленные воры», и как это возможно, чтобы лишь немногие люди могли жить безбедно и счастливо в богатой стране. Я вижу одно: что вы рассержены и виноват, кажется, я. Поэтому, с вашего разрешения, переменим предмет разговора!

Я нашел, что это было гостеприимно и любезно с его стороны, особенно если принять во внимание, как он цеплялся за свои предвзятые взгляды, и поспешил сказать, что нисколько не сержусь, а лишь принял слишком близко к сердцу наш спор. Он спокойно поклонился, и я подумал, что бурю пронесло, как вдруг вмешалась Эллен:

--Дедушка, наш гость сдерживает себя из вежливости, но то, что он хотел сказать тебе, должно быть сказано. А так как я хорошо знаю, в чем дело, я скажу это за него. Ты знаешь, меня учили всему этому люди, которые...

--Да,--прервал ее старик,--мудрец из Блумсбери и другие.

--О, так вы знаете моего родственника, старого Хаммонда?--воскликнул Дик.

--Да,--сказала Эллен,--он и «другие», как говорит мой дед, научили меня многому, и вот суть их взглядов: мы живем теперь в маленьком доме, но не потому, что не можем делать ничего лучшего, как только работать в поле, а потому, что это нам нравится. Если бы мы пожелали, мы могли бы жить в большом доме среди добрых друзей.

--Да, как раз!--заворчал старик.--Как будто я захочу жить среди этих самодовольных субъектов, которые смотрят на меня сверху вниз.

Эллен ласково ему улынулась, но продолжала, будто он ничего и не говорил:

--В то время, когда здесь стояло много больших домов, о которых упоминал мой дед, нам все равно пришлось бы жить в деревенском домике, хотели бы мы этого или нет. В нашем домике не было бы ничего, что нам нужно, не то что теперь,--он был бы голый и пустой. Нам не хватало бы еды; наша одежда была бы безобразна на вид, грязна и холодна. Ты, дедушка, вот уже несколько лет не выполняешь тяжелой работы, а только гуляешь да читаешь свои книжки и ни о чем не беспокоишься. А что касается меня, я работаю много, потому что мне это нравится. Я считаю, что труд мне полезен: он развивает мускулы и делает меня красивее, здоровее и счастливее. А в прежние времена тебе, дедушка, пришлось бы тяжело работать и на старости лет, и ты всегда боялся бы, что тебя запрут в дом--подобие тюрьмы, вместе с другими стариками, полуголодными и лишенными всех радостей жизни. А я: мне двадцать лет, но моя молодость уже прошла бы и скоро я стала бы

худой, изможденной, замученной заботами и несчастьями. Никто не мог бы даже догадаться, что я когда-то была красивой девушкой. Не об этом ли вы думали, гость?

Она говорила со слезами на глазах, думая о прошлых несчастьях простых людей, подобных ей самой.

--Да,--сказал я, растроганно,--об этом и о многом другом. В моей стране я часто видел эту злосчастную перемену, когда красивая деревенская девушка превращалась в жалкую, неряшливую женщину.

Старик сидел некоторое время молча, но затем опять произнес свою излюбленную фразу:

--Итак, вам все здешнее нравится, не правда ли?

--Мне нравится,--сказала Эллен.--Я предпочитаю жизнь смерти!

--Отлично!--сказал он.--А я больше всего люблю почитать хорошую старую книгу, в которой много забавного, вроде тэккереевской «Ярмарки тщеславия». Почему больше не пишут таких книг? Задайте этот вопрос вашему мудрецу из Блумсбери.

Щеки Дика при этом новом выпадѣ слегка покраснели, но он промолчал. Я решил, что пора что-нибудь предпринять, и сказал:

--Я только гость, друзья, но я знаю, что вы хотите как можно лучше показать мне вашу реку. А потому не думаете ли вы, что нам следовало бы скорее двинуться в путь, тем более что день, очевидно, будет жаркий.

#### *Глава XXIV*

### **ВВЕРХ ПО ТЕМЗЕ, ВТОРОЙ ДЕНЬ**

Мои спутники не замедлили принять мое предложение. Действительно, шел уже восьмой час, и нам следовало сейчас же выехать, так как день обещал быть жарким. Итак, мы спустились к лодке. Эллен была задумчива, мысли ее где-то витали, старик же был любезен и предупредителен, словно желая загладить неприятное впечатление, произведенное его речами. Клара держалась приветливо и естественно, но, как мне показалось, немного грустила. Ее наш отъезд, во всяком случае, не огорчал. Она часто украдкой поглядывала на Эллен, на ее необычайно красивое лицо. Итак, мы вошли в лодку, и Дик, садясь на весла, сказал:

--А день все-таки хорош!

И старик повторил свое:

--Неужели вам нравится этот день?

Дик налег на весла, и наша лодка скоро оказалась на середине реки. Я обернулся, чтобы помахать рукой нашим хозяевам, и увидел Эллен. Опершись на плечо старика, она ласково гладила его румяную, как яблоко, щеку. Меня что то больно кольнуло при мысли, что я никогда больше не увижу эту прекрасную девушку. Затем я настоял на своем желании сесть на весла. Я греб несколько часов, и это, без сомнения, явилось причиной того, что мы очень поздно прибыли к месту, намеченному Диком.

Я обратил внимание, что Клара была особенно нежна к Дику, а он, как всегда, держался просто и весело. Я был рад это видеть, так как человек его темперамента не мог бы без всякою смущения отвечать на ее ласки, если б был околдован феей нашего недавнего пристанища.

Мне незачем говорить о красоте берегов Темзы. Я, конечно, заметил отсутствие вульгарных вилл, которые так оплакивал старик, зато с удовольствием увидел, что мои старые враги, «готические» чугунные мосты, были заменены красивыми мостами из камня и дуба. Лесистые берега, мимо которых мы проплывали, больше не походили на приглаженные охотничьи угодья, деревья буйно разрослись, хотя было видно, что за ними хорошо следят. Я подумал, что мне лучше притвориться невеждой насчет Итона и Виндзора и получить наиболее точные о них сведения. Но, когда мы стояли в Датчетском шлюзе, Дик заговорил первый и сообщил мне все, что знал сам:

--Вон там несколько красивых старинных зданий; их построил для большого учебного заведения один из средневековых королей,--кажется, Эдуард Шестой. (Я улыбнулся про себя при этой естественной для него ошибке.) Король хотел, чтобы там обучались сыновья бедных родителей, но само собой разумеется, что во времена, о которых вы, видимо, так много знаете, его добрые намерения были с легкостью извращены. Мой прадед рассказывал, что в этом заведении, вместо того чтобы обучать наукам сыновей бедных родителей, стали прививать полное невежество детям богачей. По его словам, Итон был учреждением для «аристократии» (если только вам понятно это слово, мне объяснили, что оно означает). Аристократы посылали сюда своих сыновей, чтобы избавиться от них на большую часть года. Я думаю, старый Хаммонд мог бы рассказать вам об этом подробнее.

--А для чего Итон служит теперь?--спросил я.

--Здания,--сказал Дик,--очень испорчены последними поколениями аристократов, которые питали явное отвращение к прекрасной старой архитектуре, как и ко всем историческим памятникам прошлого. Но все-таки Итон еще очень красив. Конечно, мы не используем его так, как это предполагал основатель,--наши взгляды

на обучение молодежи слишком сильно отличаются от идей того времени. Но в зданиях Итона теперь живут люди, желающие заниматься наукой. Им преподают те предметы, которые они хотят изучать. Кроме того, Итон располагает огромной библиотекой. И я думаю, что, воскресни старый король, он не был бы слишком огорчен, увидев, что мы тут делаем.

--А мне кажется,--сказала Клара, смеясь,--он пожалел бы, что в Итоне теперь нет мальчуганов.

--Нет, моя дорогая,--сказал Дик,--сюда часто приезжают и мальчики учиться наукам, а также,--добавил он, улыбаясь,--гребле и плаванию. Мне бы хотелось остановиться здесь, но, может быть, нам лучше сделать это на обратном пути.

Шлюз открылся, и мы продолжали наш путь. О Виндзоре Дик молчал, пока я не отложил весла и не спросил, взглянув вверх:

--А это что за огромные строения?

--Там?--отозвался он.--Я ждал, когда вы сами меня спросите. Это Виндзорский замок. Мы посетим его на обратном пути. Правда, отсюда он очень красив? Но большая часть его была построена в эпоху Упадка. Мы не срыли этих зданий, раз они уж тут стояли, как и здания Навозного рынка. Вы, конечно, знаете, что это был дворец, резиденция наших средневековых королей. А впоследствии он служил для той же цели парламентским буржуазным лжекоролям, как их называет мой старый предок.

--Да,--сказал я,--все это мне известно. А для чего он служит в настоящее время?

--В замке живет много народу,--сказал Дик.--Несмотря на все недостатки, это по своему положению очень приятное место. Там, между прочим, находится хорошо устроенный склад разнообразных предметов старины, которые сочли нужным сохранить,--музей, как называли бы его в те вам хорошо знакомые времена.

При этих последних словах я опустил весла в воду и налег на них так, словно спасался от тех времен, которые были мне «хорошо знакомы». И вскоре мы уже плыли вдоль берегов Мейденхеда, которые когда-то были застроены безвкусными буржуазными особняками, а теперь выглядели так же приветливо и весело, как берега верхних плесов. Проходили утренние часы великолепного летнего дня, одного из тех дней-жемчужин, которые, будь они чаще на наших островах, бесспорно, сделали бы наш климат превосходным. Легкий ветерок тянул с запада. Маленькие облачка, набежавшие во время нашего завтрака, казалось, поднимались все выше и выше в небо, и, несмотря на жаркое солнце, мы не жаждали дождя, как, впрочем, и не боялись его. Хоть солнце и припекало, в воздухе все же чувствовалась свежесть, которая заставляла нас мечтать о послеобеденном отдыхе вблизи цветущих полей, под тенью деревьев. Даже человек, обремененный тяжелыми заботами, не мог бы не ощущать себя счастливым в это утро, и нужно сказать, что какие бы тревоги ни крылись под внешней безмятежностью всего окружающего, мы их на нашем пути не замечали.

Мы проплыли мимо лугов, где шел сенокос. Но Дик и особенно Клара так торопились к нашему празднеству в верховье реки, что не позволили мне долго разговаривать с косарями. Я отметил только, что люди в полях были сильные и красивые, как мужчины, так и женщины. По-видимому, нарочно для работы они в оделись в легкие светлые костюмы, украшенные, однако, богатой вышивкой.

Как в этот день, так и накануне мимо нас проходило вверх и вниз много разных судов. Большинство составляли гребные лодки вроде нашей или парусные, какими пользуются в верховье Темзы. Часто нам попадались баржи, груженные сеном или иной сельской продукцией, а также кирпичом, лесом и другими материалами. Они шли своим путем без какой бы то ни было видимой тяги. На корме сидел рулевой, болтая с приятелем. Заметив, что я пристально разглядываю такую баржу, Дик сказал:

--Это самоходная баржа: на воде так же легко управлять двигателем, как и на суше.

Я отлично понял, что эти «самоходные баржи» заменили наши старые паровые, но поостерегся расспрашивать о них, так как знал, что мне не понять их устройства и я только выдам себя или окажусь в затруднительном положении, из которого не сумею выпутаться.

--Да, конечно, я понимаю,--бодро произнес я.

Мы сошли на берег в Бишеме, где сохранились развалины старого аббатства и примыкающий к ним дом елизаветинской эпохи, который заботливо сохраняли сменявшиеся в нем жильцы. В этот день почти все местные жители работали в поле. Мы видели только двух стариков и одного человека помоложе, оставшегося дома ради какой-то литературной работы, которой, боюсь, мы сильно помешали.

Но мне кажется, что этот прилежный человек не досадовал на наше вторжение. Он радушно уговаривал нас посидеть подольше, и нам удалось уйти от него лишь с наступлением вечера.

Впрочем, мы на это не досадовали. Ночи стояли светлые, Дик на веслах был совершенно неутомим, и мы быстро подвигались вперед. Заходящее солнце ярко осветило развалины старинного здания у Медменхеда, возле которого высилось другое--огромное и неуклюжее. Дик сказал нам, что этот дом очень удобен для жилья. Среди живописных лугов на противоположном берегу тоже виднелись дома. По-видимому, красота

Харли побуждала людей строиться и жить здесь. При последних лучах солнца мы увидели Хенли, мало изменившийся с тех пор, как я его помнил. Когда мы проезжали по очаровательным изгибам реки у Уоргрейва и Шиплейка, дневной свет окончательно погас, но за спиной у нас к этому времени взошла луна.

Мне хотелось видеть своими глазами, каких успехов достиг новый строй жизни: удалось ли ему избавиться от всякой грязи и отбросов, которыми капитализм засорял берега широкой реки у Рединга и Кэвершема. Но этой ранней летней ночью все вокруг слишком благоухало, чтобы можно было поверить в наличие мерзких следов так называемой промышленной деятельности. И, отвечая на мой вопрос, что сейчас представляет собой Рединг, Дик сказал:

--Рединг в своем роде милый городок. За последние сто лет большая часть его перестроена. Домов здесь много, как вы можете видеть по огням вон там, под холмами. Рединг одно из самых населенных мест в этой части Темзы. Не унывайте,

гость! Мы уже близки к цели нашего сегодняшнего путешествия. Однако прошу извинить меня, если я не остановлюсь у одного из ближайших домов здесь или немного повыше. Дело в том, что мой друг, который живет в очень уютном домике на Мэпл-Дэрхемских лугах, очень просил, чтобы мы с Кларой навестили его во время нашей поездки по Темзе, и я надеюсь, вы не будете возражать против небольшого ночного путешествия.

Меня не нужно было подбадривать; я и без того ощущал прилив бодрости. Правда, меня уже не так поражали картины счастливой, мирной жизни, которые я видел вокруг. Но меня охватило такое глубокое удовлетворение, очень далекое от вялой покорности, что я чувствовал, будто снова родился на свет. Мы причалили в том месте, где, насколько я помнил, река поворачивала к северу по направлению к старинному дому семьи Блант. Широкие луга расстилались здесь справа от нас, слева же тянулся длинный ряд прекрасных старых деревьев, склонившихся над водой. Когда мы вышли из лодки, я спросил Дика:

--Куда мы идем? К старому дому?

--Нет,--ответил он,--хотя старый дом по-прежнему стоит целехонький и в нем живут. Кстати, я вижу, что вы хорошо знаете Темзу,--добавил Дик.--Уолтер Аллен, мой друг, который просил меня у него остановиться, живет в небольшом доме, построенном недавно. Все очень любят эти луга, особенно летом, и здесь разбивали прежде очень много палаток под открытым небом. Местный приход был этим недоволен и построил три дома по дороге отсюда в Кэвершем и еще один, очень поместительный, у Бэзилдона, немного выше по реке. Посмотрите, вон там--огни дома Уолтера Аллена!

Мы пошли по густой луговой траве, залитой потоком лунного света, и очутились у ворот низкого дома с четырехугольным двором. Этот двор был настолько обширен, что весь день его освещало солнце.

Уолтер Аллен, друг Дика, стоял, прислонившись к косяку входной двери, и поджидал нас. Без лишних слов он повел нас в комнату. Там было лишь несколько человек, так как некоторые из обитателей дома еще не вернулись с сенокоса, а другие, как нам сказал Уолтер, вышли на луг полюбоваться великолепием лунной ночи. Друг Дика, человек лет сорока, был высокого роста, черноволосый, с добрым и задумчивым лицом, но, к моему удивлению, тень меланхолии лежала на этом лице. Он был слегка рассеян и невнимателен к нашей болтовне, несмотря на видимое старание прислушаться.

Дик временами поглядывал на него и казался смущенным. Наконец он сказал:

--Старый друг, если возникло что-нибудь непредвиденное после того, как вы писали мне, приглашая сюда, не лучше ли прямо сказать нам, в чем дело: а то мы подумаем, что приехали сюда не вовремя и оказались нежеланными гостями.

Уолтер покраснел, с трудом сдерживая слезы; но в конце концов он сказал:

--Конечно, каждый здесь очень рад видеть вас, Дик, и ваших друзей. Но это правда, что мы не очень веселы, несмотря на хорошую погоду и богатый сенокос. Одного из нас унесла смерть.

--С этим надо мириться, товарищ,--сказал Дик,--такие вещи неизбежны.

--Да,--ответил Уолтер,--но это была насильственная смерть. И, вероятнее всего, она повлечет за собой еще одну. Мы испытываем какое-то смущение друг перед другом, и, по правде сказать, это одна из причин, почему нас так мало собралось здесь сегодня.

--Расскажите нам все, Уолтер,--сказал Дик,--может быть, вам тогда легче будет стряхнуть с себя печаль.

--Хорошо,--согласился Уолтер,--но я буду краток, хотя тут можно было бы рассказать длинную историю, как обычно и делалось с подобными сюжетами в старых романах.

Здесь живет прелестная девушка, которая нам всем нравится, а некоторым даже больше чем нравится. Она же, естественно, предпочитает одного из нас. Другой (я не стану его называть), охваченный любовным безумием, стал враждовать со всеми, правда--не питая тогда еще какого-либо злого умысла. Девушке, которая сначала относилась к нему дружески, хотя и не любила его, он стал невыносим. Те из нас, кто знал молодого человека лучше других,--я в том числе,--советовали ему уехать, так как его положение с каждым днем ухудшалось. Он, как часто бывает, не послушался, и мы вынуждены были объявить ему под угрозой бойкота,

что он должен уйти. В конце концов несчастье так его захватило, что мы сочли более правильным удалиться самим.

Он воспринял это решение спокойнее, чем мы ожидали. И вдруг--то ли свидание с девушкой, то ли стычка со счастливым соперником, но что-то вскоре совершенно вывело его из равновесия. Однажды, когда поблизости никого не было, он бросился с топором на соперника. Завязалась борьба, во время которой нападавший получил роковой удар и был убит. А теперь убийца, в свою очередь, так удручен, что готов лишиться себя жизни. И если он это сделает, девушка, боюсь, последует его примеру. Всему этому помешать так же невозможно, как предупредить землетрясение.

--Это несчастный случай,--сказал Дик.--Но раз человек умер и не может быть возвращен к жизни и раз убийца не имел злого умысла, я не вижу, почему он не мог бы с течением времени преодолеть свое отчаяние. Кроме того, убит тот, кто был не прав. Зачем же правому вечно страдать из-за несчастного случая. А как девушка?

--Ее,--сказал Уолтер,--вся эта история, по-видимому, повергла больше в ужас, чем в горе. Что же касается мужчины, то вы говорите совершенно правильно; так и должно быть, но, видите ли, возбуждение и ревность, которые были прелюдией к этой трагедии, создали вокруг него неприязненную лихорадочную атмосферу, из которой он, кажется, не способен вырваться. Все же мы посоветовали ему уехать отсюда подальше, за море. Но он в таком состоянии, что я не думаю, чтобы он мог собраться с духом, разве только кто-нибудь увезет его, и кажется, это выпадет на мою долю. Не слишком радостная перспектива!

--А вы постарайтесь найти в этом интерес для себя,--сказал Дик.--Конечно, невольный убийца рано или поздно станет на более благоразумную точку зрения.

--Во всяком случае,--сказал Уолтер,--теперь, когда я облегчил свою душу, отяжелив вашу, покончим на время с этой темой. Повезете ли вы вашего гостя в Оксфорд?

--Да, конечно,--сказал Дик, улыбаясь,--мы должны проехать Оксфорд, раз мы поднимаемся по реке. Но я думаю не останавливаться там, а то мы запоздаем к сенокосу. Поэтому Оксфорд и моя ученая лекция о нем, почерпнутая из вторых рук от моего деда, пусть подождут, пока мы не поедем обратно недельки через две.

Я слушал эту историю с большим интересом и не мог не подивиться на первых порах, что убийцу не заключили под стражу до тех пор, пока не будет доказано, что он убил соперника, обороняясь от нападения. Но чем больше я размышлял, тем яснее мне становилось, что, сколько бы ни допрашивали свидетелей, которые ведь ничего не видели, они не могли бы засвидетельствовать ничего, кроме вражды между обоими противниками, и дело от этого не стало бы яснее. Я не мог не подумать также о моральном страдании убийцы, которое подтверждало слова старого Хаммонда об отношении этого странного народа к тому, что в мое время всегда называли преступлением. Конечно, это страдание было чрезмерным, но ясно было одно: убийца принимал на себя все последствия совершенного им акта и не ждал, чтобы общество сняло с него вину, наложив на него наказание. Я больше не боялся, что священная неприкосновенность человеческой жизни пострадает среди моих друзей из-за отсутствия у них виселиц и тюрем.

## *Глава XXV* **ТРЕТИЙ ДЕНЬ НА ТЕМЗЕ**

Когда мы на другое утро спускались на берег, Уолтер не удержался и вернулся к предмету вчерашнего разговора. Теперь он не смотрел на дело так безнадежно. Он считал, что, если несчастного убийцу не удастся уговорить отправиться за море, он, во всяком случае, может поселиться где-нибудь по соседству, предоставленный самому себе. Такой выход предлагал Уолтер. Должен сказать, что как Дик, так и мне это показалось странным лекарством.

--Друг Уолтер,--сказал Дик,--не давайте человеку слишком много размышлять о постигшей его трагедии, оставляя его одного. Это только укрепит в нем мысль, что он совершил преступление, и, вы увидите, он покончит с собой.

--Я не думаю!--сказала Клара,--Мое мнение таково: пусть лучше он теперь переживает период мрачных угрызений совести, потом, придя в себя, он увидит, как они были необоснованны. Тогда бедняга вновь сможет быть счастлив. Что касается самоубийства, вы не должны этого бояться, так как из всего, что вы говорите, ясно, что он действительно влюблен в ту женщину и, говоря откровенно, пока его любовь не удовлетворена, он будет не только крепко привязан к жизни, но станет дорожить всем, что жизнь ему подарит. Мне кажется, этим и объясняется то, что он воспринял случившееся несчастье так трагически.

Уолтер задумался и сказал:

--Да, может быть, вы и правы. Возможно, мы должны были бы отнестись ко всему спокойнее, но, видите ли, гость,--продолжал он, обращаясь ко мне,--подобные вещи случаются так редко, что если уж это произойдет, мы не можем не быть удручены. В конце концов мы все склонны простить нашему бедному другу, что он так нас расстроил, ибо причиной всего было его высокое уважение к человеческой жизни и счастью. Я больше не стану об этом говорить. Только вот что еще: не довезете ли вы меня вверх по реке до нужного мне места. Я хочу присмотреть уединенное убежище для бедного малого, раз он этого так желает. А я слышал о подходящем доме на холмах за Стритлеем. Если вы высадите меня там на берег, я поднимусь и осмотрую этот дом.

--Он пустует?--спросил я.

--Нет,--сказал Уолтер,--но человек, который в нем живет, конечно, покинет его, когда узнает, зачем он нам нужен. Нам кажется, что свежий воздух возвышенности и пустынный пейзаж подействуют на нашего друга благотворно.

--Да,--улыбаясь, сказала Клара,--притом он не будет далеко от своей возлюбленной, и они, если пожелают, легко смогут встречаться. А в таком желании сомневаться не приходится.

Этот разговор происходил, когда мы шли к лодке, и вскоре мы уже плыли по прекрасной широкой реке. Дик энергично работал веслами, и наше суденышко быстро скользило по спокойным водам. Было около шести часов, и кругом еще стояла тишина. День выдался безветренный. Мы очень скоро достигли шлюза, и, пока мы там стояли, постепенно поднимаясь вместе с прибывающей водой, я невольно подумал, что вот мой старый друг, знакомый шлюз, самого простого сельского образца, все еще находится на своем месте. И я сказал:

--Проходя шлюз за шлюзом, я дивлюсь, что вы, такой богатый народ, любящий интересную работу, ничего не придумали взамен этих неуклюжих приспособлений!

Дик рассмеялся,

--Дорогой друг,--сказал он,--до тех пор, пока вода сохранит привычку «неуклюже» течь с горы, нам, пожалуй, надо будет мириться с необходимостью подъема по лестнице шлюзов. Кстати, я не вижу причин нападать на Мэпл-Дэрхемский шлюз. Здесь очень красиво.

С этим я не мог не согласиться, глядя на свесившиеся над нами ветви огромных деревьев. Солнце просвечивало сквозь листву, и я слушал, как свист дроздов сливался с шумом воды. Не будучи в состоянии объяснить, почему мне потребовалось, чтобы убрали шлюзы (о чем я, в сущности, вовсе и не думал), я промолчал. Но заговорил Уолтер:

--Видите ли, гость, теперь не век изобретений. Прошедшая эпоха оставила нам многое по этой части, и мы теперь пользуемся теми изобретениями, которые нам полезны, и отказываемся от тех, в которых не нуждаемся. Действительно, еще недавно (точной даты я указать не могу) для шлюзов употреблялись очень сложные машины, хотя люди и не зашли так далеко, чтобы заставлять воду течь в гору. Как бы то ни было, это оказалось чересчур хлопотным, и простые шлюзы с воротами и противовесом были найдены вполне целесообразными. Кстати, их легко можно ремонтировать, в случае надобности пользуясь материалами, находящимися всегда под рукой. Вот они и стоят до сих пор.

--Кроме того,--сказал Дик,--вы сами видите, что шлюзы такого устройства красивы, и я думаю, что ваши механические шлюзы, которые заводятся, как часы, были бы безобразны и испортили бы вид реки. А это достаточная причина, чтобы сохранить на месте старое сооружение. Прощай, добрый товарищ,--сказал он, обращаясь к шлюзу и проталкивая лодку через открывшиеся ворота сильным ударом багра.--Живи долго и оставайся вечно юным!

Мы поплыли дальше, и река открывала мне знакомые виды, относящиеся к тем временам, когда Пэнгборн еще не был целиком во власти вульгарных вкусов, как впоследствии. Теперь он по-прежнему был деревней, то есть группой небольших домов, живописно разбросанных по местности. Буковый лес все еще покрывал холм над Бэзилдоном, но равнина внизу была более населена, чем в мое время: поодаль виднелось пять больших домов, архитектура которых прекрасно гармонировала с окружающей природой. Внизу у зеленого берега реки, в том месте, где она поворачивает к Горингу и Стритлею, несколько девушек резвились на траве. Они окликнули нас, когда мы проезжали мимо, и мы на минутку остановились поболтать с ними. Девушки только что выкупались в реке, были легко одеты и босы. Они должны были отправиться на луг беркширского берега, где начинался сенокос, а пока веселились в ожидании своих товарищей, которые должны были захватить за ними в лодке. Сперва они и слышать не хотели никаких объяснений и звали нас с собой в луга завтракать. Но когда Дик рассказал о нашем намерении участвовать в сенокосе выше по реке и заметил, что не следует лишать меня удовольствия из-за задержки в другом месте, девушки нехотя согласились. В отместку они засыпали меня вопросами о стране, откуда я приехал, и о тамошних обычаях. Их вопросы меня порядком озадачили, и, без сомнения, мои ответы порядком озадачили их. Я заметил, что эти милостивые девушки, как и все люди, которых мы встречали, за отсутствием серьезных новостей вроде тех,

которые мы услышали в Мэпл-Дэрхеме, интересовались всякими мелочами: погодой, сенокосом, последним новым домом, распространенностью птиц той или иной породы, причем они обсуждали эти вопросы не поверхностно и небрежно, но находили в них живейший интерес. Я заметил, что женщины знают обо всем этом не меньше мужчин. Они определяли виды растений, знали их свойства, могли рассказать о повадках той или иной птицы или рыбы.

Удивительно, как эта встреча изменила мое представление о деревенской жизни. В прошлую эпоху говорили, что, будучи поглощены повседневной работой, деревенские жители мало что знают о жизни окружающего их мира и ничего не могут рассказать о ней. Но эти новые люди были любознательны, проявляя интерес ко всему, что происходило на их полях, в лесах и на холмах, словно они были горожане, только освободившиеся от тирании каменных домов.

Могу отметить как подробность, на которую стоит обратить внимание, что не только насекомоядных птиц было больше, но чаще встречались и их враги--хищные птицы. Когда мы накануне проезжали Медменхем, над нашими головами кружил коршун. На изгородях сидело много сорок. Я видел несколько ястребов и, кажется, маленького сокола. Когда мы проезжали под красивым мостом, заменившим бэзилдонский железнодорожный мост, два ворона каркнули над нашей лодкой и улетели к холмам. Из всего этого я заключил, что дни лесников, охранявших дичь, миновали, и даже счел лишним задать Дику вопрос по этому поводу.

## *Глава XXVI* **НЕПРИМИРИМЫЕ УПРЯМЦЫ**

Беседуя с девушками, мы увидели, как от беркширского берега отчалило двое сильных молодых людей и женщина. Дик вспомнил шуточный намек, брошенный девушками, и спросил их, как это случилось, что с ними нет никого из мужчин, чтобы ехать на тот берег. Куда же девались все их лодки?

--Они взяли большую лодку,--ответила одна из младших девушек,--чтобы возить камни с верховья.

--Кого ты подразумеваешь под словом «они», милая девочка?--спросил Дик.

Девушка постарше и повыше ростом, засмеявшись, сказала:

--А вы пойдите и потолкуйте с ними. Посмотрите туда,--и она указала в сторону северо-запада,--вы видите, что там идет стройка?

--Да,--сказал Дик,--и меня удивляет, что это происходит в такое время года. Почему они не работают с вами на сенокосе?

Девушки рассмеялись, и прежде чем смолк их смех, беркширская лодка врезалась в зеленую траву берега. Девушки расположились в лодке и продолжали лукаво усмехаться, в то время как вновь прибывшие приветствовали нас. Прежде чем отправиться в путь, высокая девушка сказала:

--Простите наш смех, дорогие соседи, но у нас дружеская распря вон с тамошними строителями. Нам некогда рассказывать вам всю историю, но вы ступайте и спросите у них сами. Они будут вам рады, если только вы не станете мешать их работе.

Все они еще раз дружно рассмеялись, посылая нам ласковый прощальный привет. А гребцы тем временем перевезли их через реку, мы же остались на берегу у нашей лодки.

--Пойдемте навестим этих строителей,--сказала Клара,--конечно, если вы, Уолтер, не очень спешите добраться до Стритлея.

--Нет, нет,--заверил ее Уолтер,--я буду рад поводу остаться подольше в вашей компании.

Итак, мы оставили свою лодку на месте и начали подыматься по отлогому склону холма. По дороге я, не утерпев, спросил Дика:

--Чему они так дружно смеялись? В чем тут соль?

--Я могу догадаться,--ответил Дик.--Многие из тех, там наверху, заняты делом, которое их интересует, и они не хотят идти на сенокос. В этом нет никакой беды, так как всегда найдутся люди для такой не слишком тяжелой и приятной работы. Сенокос у нас отмечается как праздник, и косари развлекаются, добродушно подшучивая над товарищами.

--Понимаю!--сказал я.--Это вроде того, как если бы во времена Диккенса какие-нибудь молодые люди так углубились в работу, что не праздновали бы рождества.

--Верно,--согласился Дик,--только совсем не нужно, чтобы эти люди были непременно молодыми.

--Но что вы имели в виду, говоря о не слишком тяжелой и приятной работе?--спросил я.

--Я так выразился?--спросил Дик.--Что ж, я думал о работе, которая укрепляет мускулы, отсылая вас ко сну приятно утомленным, но в то же время не причиняет вам вреда, короче говоря, не изнуряет вас. Такая работа всегда приятна, если вы ею не злоупотребляете. Только запомните, хорошая косьба требует некоторой сноровки. Я говорю это как опытный косарь.

Беседуя таким образом, мы подошли к небольшому строящемуся дому в глубине великолепного фруктового сада, окруженного старой каменной оградой.

--Да, да,--сказал Дик,--теперь припоминаю! Это прекрасное место для жилого дома, но оно было занято ветхим домишком девятнадцатого века. Я рад, что взамен него строят новый каменный дом, хотя в этой местности можно было бы обойтись и деревом. Честное слово, у них выходит красиво. Но я бы не строил его целиком из тесаного камня.

Уолтер и Клара уже беседовали с высоким мужчиной, одетым в блузу каменщика. На вид ему было лет сорок, но, вероятно, он был старше. В руке он держал молоток и долото. Всего под навесом и на лесах работало человек шесть мужчин и две женщины, в блузах, как и мужчины. Очень хорошенькая женщина, не участвовавшая в работе и одетая в нарядное голубое полотняное платье, неторопливо подошла к нам с вязаньем в руках.

--Итак, вы поднялись сюда с реки посмотреть на непримиримых упрямец,--с улыбкой сказала она, приветствуя нас.--Где вы будете работать на сенокосе?

--Немного выше Оксфорда,--сказал Дик,--там поздний сенокос. Но какова ваша роль в делах этих упрямец, прелестная соседка?

--О, я счастливица,--ответила она, шутя,--я не работаю. А впрочем, иногда и мне достается, так как я служу моделью госпоже Филиппе. Она наш главный резчик. Пойдемте, познакомьтесь с нею.

Она повела нас к двери дома, наполовину уже построенного, где маленькая женщина работала резцом и молотком над отделкой ближайшей стены. Она была очень занята своим делом и не обернулась, когда мы подошли. Но более высокая молодая женщина, по виду почти девочка, которая уже закончила работу, смотрела восхищенными глазами то на Клару, то на Дика. Больше никто не обратил на нас особого внимания.

Девушка в голубом положила руку на плечо резчицы и сказала:

--Ну, Филиппа, если вы так пожираете вашу работу, вам скоро ничего не останется делать. Что тогда будет с вами?

Женщина-скульптор быстро обернулась. Ей было лет сорок.

--Не говорите глупостей, Кейт, и постарайтесь не мешать мне,--нежным голосом, но довольно сердито заметила она.

Увидев нас, она сразу остановилась, а затем продолжала с приветливой улыбкой, которой нас встречали повсюду:

--Благодарю вас за то, что вы пришли навестить нас, соседи. Но я уверена, вы не сочтете меня неучливой, если я буду продолжать свою работу, особенно если я вам скажу, что проболела весь апрель и май. А теперь свежий воздух, солнце и работа--все вместе взятое--и моя радость выздоровления в придачу наполняют каждый мой час наслаждением. Извините меня, я должна продолжать!

И она тут же снова занялась барельефом из цветов и фигур, продолжая говорить под удары молотка:

--Видите ли, мы все считаем это место лучшим на несколько миль вверх и вниз для постройки дома. Но здесь так долго торчало никчемное старое здание, что мы, каменщики, решили сыграть роль судьбы и поставить здесь самый красивый дом, и поэтому... поэтому...

Здесь она полностью сосредоточилась на работе. Но подошел рослый мастер и сказал:

--Да, соседи, так это и вышло. Все здание будет из тесаного камня, и мы хотим украсить стены фризом из цветов и фигур. Нам мешало то одно, то другое,--между прочим, и болезнь Филиппы. И хотя мы могли бы справиться с фризом и без нее...

--Вот как?--проворчала Филиппа, не оборачиваясь.

--Да, конечно, она--наш лучший скульптор, и было бы не по-дружески начать без нее. Так что вы видите,--сказал он, смотря на Дика и на меня,--мы действительно не могли отправиться на сенокос, ведь правда, соседи? Но при нынешней великолепной погоде дело у нас так спорится, что, я думаю, мы урвем недельку-другую на уборку урожая пшеницы. И с какой радостью мы тогда поработаем! Приезжайте на поля, что к северо-западу отсюда: вы увидите хороших жнецов, соседи!

--Ура! Вот как мы себя хвалим!--раздался голос с лесов над нами.--Наш мастер находит, что это легче, чем укладывать камень за камнем.

Эти слова покрыл общий хохот, к которому присоединился и высокий каменщик. В это время мы увидели мальчика, который вынес столик в тень под навесом, где были сложены камни. Нырнув в дом, мальчик снова вернулся с большой бутылкой в ивовой оплетке и несколькими стаканами. Мастер подвел нас к каменным глыбам, служившим сиденьями, и сказал:

--Итак, товарищи, выпейте за то, чтобы моя похвальба осуществилась, а то я подумаю, что вы мне не верите. Эй там, наверху!--крикнул он людям на лесах.--Спускайтесь и вы за стаканчиком!

Трое рабочих быстро спустились с лесов, как люди, привычные к такому упражнению. Из остальных никто не отозвался, кроме того же шутника, который крикнул с места:

--Простите меня, соседи, что я не спускаюсь. Я должен продолжать: моя работа не надзирательская, как у того молодца. Но вы все-таки пришлите нам по стаканчику, чтобы выпить за здоровье косарей.

Конечно, Филиппа не пожелала прервать свое излюбленное дело, однако к нам присоединилась другая женщина-скульптор. Это была дочь Филиппы,--высокая крепкая девушка, черноволосая, как цыганка, с удивительно торжественной манерой держаться. Собравшись вместе, все чокнулись. Люди на лесах повернулись к нам и выпили за наше здоровье. Но прилежная маленькая женщина у двери ни на что не обращала внимания и только пожала плечами, когда ее дочь, притронувшись к ней, хотела привлечь к нам ее внимание.

Итак, пожав руки этим «упрямцам», мы стали спускаться по склону к нашей лодке, и долго, пока мы шли, слышны были звонкие удары молотков и лопаток, смешанные с жужжанием пчел и пением жаворонков над долиной Бэзилдона.

## **Глава XXVII** **ВЕРХОВЬЕ**

Мы высадили Уолтера на беркширский берег, среди красот Стритлея. Далее наш путь лежал в глубь страны, туда, где высились холмы Уайт-Хорса. И хотя различие между старинной деревней и деревней, испорченной мещанскими вкусами девятнадцатого века, теперь вполне изгладилось, чувство радости охватило меня при виде знакомых, несколько не изменившихся холмов Беркширской цепи.

В Уоллингфорде мы остановились для полдника. Признаки бедности и грязи, конечно, совершенно исчезли с улиц этого старинного городка. Много безобразных домов было снесено и много красивых выстроено, но это был тот же Уоллингфорд, каким я его помнил.

За обедом мы разговорились со старым и очень умным человеком, который показался мне вторым изданием деда Хаммонда, но в сельском стиле. Он обнаружил необыкновенное знание древней истории этой местности, со времени Альфреда до эпохи Парламентских войн. Многие эпизоды этих войн, как вы знаете, разыгрались вокруг Уоллингфорда. Но более интересно для нас было то, что он прекрасно помнил о переходе к нынешнему положению вещей.

Он много говорил по этому поводу, особенно о переселении народа из города в деревню и о постепенном возвращении городского и деревенского населения к утраченным жизненно важным ремеслам. Это забвение ремесел зашло, по его словам, так далеко, что было время, когда в селах и маленьких городках нельзя было найти не только плотника или кузнеца, но даже человека, умеющего печь хлеб. Например, в Уоллингфорде хлеб получали ежедневно с первым поездом из Лондона, вместе с газетами. Этот хлеб изготавливали каким то особым способом, которого я из его объяснений не понял. Он рассказывал также, что городские жители, переселяясь в деревню, обычно учились земледелию, наблюдая за действием машин и догадываясь о соответствующих приемах ручного труда, потому что в то время все работы на полях производились замысловатыми машинами, управляемыми совершенно невежественными людьми. С другой стороны, старики обучали деревенскую молодежь основным приемам работы, применяемым в разных ремеслах,--как пользоваться пилой, рубанком, кузнечным горном. В то время крестьянин, можно сказать, не умел насадить грабли на палку без помощи машины. Таким образом, необходима была машина, стоимостью в тысячу фунтов, труд целой артели да еще полдня пути, чтобы выполнить работу на пять шиллингов. Наш новый знакомый показал нам отчет одного сельскохозяйственного совета, усиленно занимавшегося такими вопросами. Этим людям приходилось глубоко вникать в каждую мелочь, например, определять (так как не у кого было спросить) необходимую пропорцию щелочи и жиров при изготовлении мыла для нужд деревни, или точную температуру воды, при которой нужно класть в котел баранью ногу. И все это без малейшего чувства товарищества, которое в более раннее время проявлялось бы даже на деревенском сходе. Все это показалось мне любопытным и поучительным.

Старик, которого звали Генри Морсом, после обеда и отдыха повел нас на большую выставку произведений промышленности и искусства, начиная с последних дней машинного периода и кончая настоящим временем. Он показывал нам экспонаты и давал подробные объяснения. Интерес представляли скверные изделия машинной выделки (которая была особенно распространена вскоре после упоминавшейся ранее гражданской войны). Выставка демонстрировала постепенный переход к ручному труду. Но, конечно, сперва существовали рядом оба способа производства, и новая система труда входила в жизнь очень медленно.

--Вы должны помнить,--сказал наш антиквар,--что ручная работа не была следствием материальной необходимости. Напротив, к тому времени машины были настолько усовершенствованы, что могли выполнять почти все нужные работы. И, конечно, многие в то время и еще раньше привыкли думать, что машина окончательно вытеснит ремесло. Это казалось несомненным. Но было и другое мнение, гораздо менее логичное, преобладавшее среди богатого класса до эпохи освобождения. Оно не исчезло сразу и после наступления новой эпохи. Это мнение, как видно из всего, что мне пришлось читать, казалось тогда настолько естественным, насколько теперь оно кажется нелепым. Оно сводилось к тому, что вся обыкновенная работа, необходимая для повседневной жизни, будет выполняться автоматическими машинами, энергия же самой просвещенной части человечества будет направлена на высшие формы искусства, а также на науку и изучение истории. Не правда ли, как странно, что эти люди вовсе не считались со стремлением к полному равенству, которое мы признаем теперь необходимым условием существования счастливого общества?

Я ничего не ответил и глубоко задумался. У Дика тоже был очень серьезный вид.

--Странно, сосед?--сказал он наконец.--А я как-то слышал от моего деда, что единственной целью всех людей, вплоть до нашего времени, было избегать работы. Вернее, они считали это своей целью. Конечно, повседневная работа, исполняемая ими по необходимости, была более тягостной, чем та, которую они--как им казалось--сами себе выбирали.

--Это правда,--сказал Морсом.--Во всяком случае, они скоро поняли свою ошибку и увидели, что, полагаясь на одни только машины, могут жить лишь рабы и рабовладельцы.

Здесь горячо вмешалась Клара:

--Не было ли это заблуждение порождено рабской жизнью, которую люди тогда вели? Жизнь, побуждавшей смотреть на все одушевленные и неодушевленные предметы, на так называемую «природу», как на нечто отличное и отдельное от человека? Для людей, так рассуждавших, было естественно думать, что они могут поработить «природу», раз они считали, что природа--нечто находящееся вне их.

--Верно,--сказал Морсом,--и они не знали, что им делать, пока в народе не зародилось враждебное чувство к механизированной жизни. Оно впервые возникло еще до Великой перемены среди людей, имевших досуг подумать о таких вещах. Чувство это росло незаметно. И тогда работа, казавшаяся развлечением, начала понемногу вытеснять механическую работу, которую когда-то надеялись в лучшем случае свести к минимуму, хотя и не отменить совершенно.

--Когда же совершилась эта новая революция?--опросил я.

--Это движение начало проявляться в середине века, следующего за Великой переменой,--сказал Морсом.--Машину за машиной постепенно отставляли, убедившись, что она не может производить художественных изделий и что спрос на произведения искусства все более и более растет. Посмотрите,--сказал старик,--вот кое-какие изделия того времени--грубые и пока не изящные--произведения ручного труда. Но они прочны и показывают, что над ними трудились с удовольствием.

--Они очень любопытны,--заметил я, взяв в руки один из образцов фаянсовой посуды, которые показывал нам антиквар.--Мне кажется, они ничуть не похожи на работу дикарей или варваров, но все же на них, сказал бы я, легла печать отвращения к «цивилизации».

--Да,--сказал Морсом,--вы не должны искать здесь

чего-либо тонкого. В этот период вы не могли бы требовать большего от человека, который по существу был рабом. А вот взгляните,--сказал он, проведя нас немного дальше по залу,--как мы впоследствии постигли тайны ремесла и присоединили высшую утонченность к свободе нашего воображения.

Я смотрел и не мог надивиться красоте, разнообразию и богатству фантазии в работах людей, которые наконец научились воспринимать жизнь как удовольствие, а удовлетворение обыденных потребностей человека считать работой, достойной лучших представителей человеческого рода. Я молча размышлял и наконец сказал:

--Что же придет потом?

Старик засмеялся.

--Не знаю,--ответил он,--поживем--увидим!

--А пока,--вмешался Дик,--мы должны продолжать наше путешествие. Итак, идемте на улицу и вниз к реке. Не хотите ли прокатиться с нами, сосед? Мой друг жаждет продолжения ваших рассказов!

--Я поеду с вами до Оксфорда: мне надо взять книги в Бодлеянской библиотеке,--промолвил старик.--Вы, наверно, переночуете в нашем старинном городе?

--Нет,--ответил Дик,--мы направляемся выше: нас ждет сенокос.

Морсом кивнул, и мы все вместе вышли на улицу, а затем сели в лодку немного выше городского моста. Но не успел Дик вложить весла в уключины, как из-под низкой арки моста показался нос другой лодки.

Светло-зеленая, изящно разрисованная цветами, эта лодка показалась нам очень красивой. Когда лодка вышла из-под моста, в ней поднялась стройная фигура девушки в легком голубом шелковом платье, развевающимся на ветру. Девушка показалась мне знакомой, и когда она повернулась к нам, я увидел ее прекрасное лицо и с радостью убедился, что это не кто иной, как Эллен--фея цветущего сада в Раннимеде.

Мы задержались, чтобы поздороваться с ней. Дик встал во весь рост в лодке и весело приветствовал ее.

Я попытался тоже крикнуть что-нибудь веселое, но, кажется, неудачно. Клара помахала своей нежной рукой, а Морсом поклонился и посмотрел на девушку с большим интересом. Что же касается Эллен, то ее красивое лицо покрылось румянцем. Когда ее лодка подошла и коснулась бортом нашей, она сказала:

--Видите ли, соседи, я сомневалась, что вы все трое отправитесь обратно через Раннимед или что вы остановитесь там. Кроме того, я не уверена, что мы с дедом не уедем оттуда через неделю или две. Он задумал навестить своего брата на севере, а я не хочу отпускать его одного. Вот я и подумала, что, может быть, никогда больше вас не увижу. Эта мысль была мне неприятна, и я поехала вслед за вами.

--Отлично!--сказал Дик--Мы все, конечно, очень рады, но должен сказать, что мы с Кларой непременно навестили бы вас на обратном пути и потом повторили бы свой визит, если бы в первый раз никого не застали. Однако, милая соседка, вы в лодке одна и гребли довольно долго. Поэтому вам лучше посидеть и отдохнуть. Я предлагаю, чтобы мы разделились!

--Хорошо!--сказала Эллен,--я подумала об этом и захватила руль для моей лодки. Помогите мне его навесить!

Девушка прошла на корму лодки и подвела ее к нашей корме, где находился Дик. Он опустился на колени в нашей лодке, а она в своей, и началась обычная возня с навешиванием руля на штыри. Вас не должно удивлять то, что в этом маловажном устройстве особой перемены не произошло. Когда их прекрасные юные лица склонились над рулем, мне показалось, что они почти соприкасаются, и хотя это длилось одно лишь мгновение, меня словно что-то кольнуло.

Клара сидела на своем месте и не оглянулась.

--Как же нам разделиться?--с чуть заметной принужденностью в голосе сказала она.--Не хочешь ли, Дик, перейти в лодку к Эллен? Ты лучший гребец, не в обиду нашему дорогому гостю будь сказано.

Дик встал, положил руку ей на плечо и сказал:

--Нет, нет, пусть гость поработает. Он уже немного натренирован. Да мы и не спешим, ведь мы едем недалеко за Оксфорд. И если даже нас застигнет ночь, месяц будет светить нам лишь немного слабее, чем солнце в пасмурный день.

--Как-никак,--вставил я,--у меня лодка, хоть и медленно, все же идет против течения!

Все рассмеялись, как если бы я сказал нечто действительно остроумное. Я подумал, что смех Эллен звучал необычайно приятно.

Итак, я с радостью перешел в другую лодку и, взявшись за весла, постарался не ударить лицом в грязь, так как этот счастливый мир стал для меня еще счастливее от близости прекрасной и странной девушки. И должен сказать, что из всех людей, которых я видел в этом обновленном мире, она казалась мне самой загадочной и своеобразной. Клара, например, красивая и умная, все же походила на очень милую и прямодушную молодую леди. Также и другие встреченные мною девушки были только улучшенными образцами тех женских типов, которые я в свое время встречал. В Эллен же меня не только поражала ее красота, совсем иная, чем красота знакомых мне женщин, но вся она была так неповторима, так заинтриговывала, что я все ждал от нее слов и поступков, которые еще больше удивили и восхитили бы меня. Я не говорю, что она проявляла себя совершенно неожиданным образом, но она все свои чувства выражала как-то по-новому и была полна жизнерадостности, которую я заметил у всех, но в ней--в высшей степени.

Вскоре мы двинулись в путь и быстро прошли прекрасные плесы реки между Бенсимптоном и Дорчестером. День начал клониться к вечеру, было тепло, но не жарко и совершенно безветренно. Облака, высоко над головой, легкие, жемчужно-белые и сверкающие, умеряли солнечные лучи, но полностью не закрывали бледную лазурь, а лишь придавали ей как бы плотность и высоту. Небо и в самом деле имело вид свода, как любят говорить о нем поэты. Оно не казалось беспредельным воздушным пространством. Это был купол, гигантский, полный света и нисколько не подавлявший человека. День был такой, о котором, вероятно, мечтал Теннисон, когда он сказал о «стране лотофагов», что это страна, где всегда царит предвечернее время.

Эллен полулежала на корме и явно наслаждалась путешествием. Она внимательно смотрела кругом, и ничто не ускользало от ее взгляда. И, по мере того как я наблюдал за ней, постепенно исчезало неприятное чувство, вначале охватившее меня: оно возникло было при мысли, что последовать за нами ее побудила любовь к ловкому, веселому и красивому Дикю. Если бы это было верно, конечно, она не могла бы так восхищаться прекрасными пейзажами, мимо которых мы проплывали. Сперва Эллен говорила мало, но когда

мы прошли под Шиллингфордским мостом, заново отстроенным, но, в общем, напоминавшим прежний, она попросила меня задержать лодку, чтоб полюбоваться видом сквозь стройную арку моста. Потом она повернулась ко мне и сказала:

--Не знаю, радоваться мне или огорчаться, что я впервые вижу эту часть реки! Большое удовольствие видеть новое место в первый раз, но если бы все это хранилось уже год или два в моих воспоминаниях, как сладко они вливались бы в мою жизнь наяву и во сне! Я рада, что Дик гребет не спеша и мы можем помедлить здесь. Как вам нравится ваше первое плавание по этим водам?

Не думаю, чтобы она хотела поставить мне ловушку, тем не менее я попался в нее, сказав:

--Мое первое плавание? О, далеко не в первый раз я посещаю здешние места! Эти берега мне отлично знакомы. Я могу даже сказать, что мне известна каждая пядь земли вдоль Темзы от Хэммерсмита до Криклейда.

Встретив ее любопытный взгляд, я понял, какие осложнения могу навлечь на себя своей неосторожностью. Точно так же она смотрела на меня в Раннимеде, когда я говорил присутствующим что-нибудь неожиданное и делал непонятным для них мое положение в их среде. Я вспыхнул и, чтобы загладить свою ошибку, сказал:

--Я удивляюсь, что вы никогда не поднимались по реке так высоко, хотя живете на берегу Темзы и притом так хорошо гребете: вам это было бы не трудно, не говоря уже о том,--лукаво добавил я,--что каждый был бы рад быть вашим гребцом.

Она рассмеялась, но, очевидно, не в ответ на мой комплимент, ведь я только отметил несомненный факт. Нет, она смеялась своим собственным мыслям, а в то же время смотрела на меня ласково и все так же пытливо.

--Да, может быть, это и странно,--сказала она,--но у меня дома много дела: прежде всего я ухаживаю за своим стариком, а затем у меня отнимают время молодые люди, которым я нравлюсь и каждому из которых я вынуждена уделять внимание. Но дорогой гость, то, что вам знакомо верхнее течение реки, кажется мне более странным, чем то, что я его не знаю. Насколько я поняла, вы в Англии всего несколько дней. Может быть, вы хотите сказать, что читали об этих местах или видели их изображения, хотя это не так уж много дает.

--По правде сказать,--ответил я ей,--я не читал ни одной книжки о Темзе. Для низкой культуры моего времени характерно, что не нашлось никого, кто написал бы приличную книгу о нашей реке, которую справедливо можно назвать единственной среди английских рек.

Не успел я произнести эти слова, как почувствовал, что опять попал впросак. И я рассердился на себя: мне не хотелось вступать сейчас же в долгие объяснения или начать фантазировать в духе «Одиссеи». Однако Эллен, по-видимому, это поняла и не воспользовалась моим промахом. Ее острый взгляд смягчился, и она стала теперь намного приветливее.

--Как бы там ни было, я рада, что плыву с вами по реке, которую вы знаете так хорошо, а я--так плохо, по крайней мере--выше Пэнгборна. Вы, значит, сможете объяснить мне все, что меня заинтересует.--Помолчав минуту, она продолжала:--Прошу вас помнить, что известную мне часть я знаю основательно. Меня огорчило бы, если бы вы подумали, что я равнодушна к таким прекрасным и любопытным местам, как долина Темзы.

Она высказала все это серьезно, теплым дружеским тоном, который мне очень понравился. Но я понял, что свои сомнения насчет меня она лишь отложила до другого раза.

Тем временем мы подошли к шлюзу Дэй, где нас поджидал Дик со своими двумя спутниками. Он предложил сойти на берег, чтобы кое-что мне показать, и я охотно пошел с ним и Эллен к знаменитой Дэйской плотине. Зданием церкви за плотинной добрые дорчестерские граждане все еще пользовались для разных целей. На вывеске деревенского Дома для гостей все еще красовался герб с цветком ириса, как и в те дни, когда гостеприимство покупалось и продавалось. Но я не поддал вида, что все это мне знакомо. Хотя, когда мы сидели на насыпи у плотины и смотрели на холм Сайнодана, на такой же холм Уиттенхема и на резко очерченную котловину между ними, я чувствовал себя неловко под пристальным взглядом Эллен, и у меня чуть было не вырвалось восклицание: «Как мало все здесь изменилось!»

Мы сделали еще одну остановку в Абингдоне, который подобно Уоллингфорду показался мне и новым и вместе с тем старым. Освобожденный от грязи девятнадцатого века, он в других отношениях ничуть не изменился. Солнце уже садилось, когда мы подплыли к Оксфорду со стороны Озенея. Тут мы остановились на несколько минут подле старого замка, чтобы высадить на берег Морсома. Само собой разумеется, что, насколько видно было с реки, я старался не пропустить ни одной башни, ни одного шпиля этого города, когда-то бывшего в полной власти ученых. Окрестные луга, которые, когда я в последний раз гулял по ним, чахли с каждым днем, запущенные и неопрятные, с печатью беспокойной «интеллектуальной жизни девятнадцатого века», перестали быть «интеллектуальными», но стали вновь прекрасными, как им и

надлежало быть. На маленьком холме Хинксей «выросло» несколько каменных домов (я употребляю это выражение намеренно, потому что они удивительно гармонировали с местностью), и сам холм весело взирал сверху на полноводную реку, на колыхавшуюся траву, серую в этот час заката, и на быстро созревающие злаки.

Железная дорога исчезла, а с нею и все плоские мосты над рекой. Мы скоро добрались до шлюза Медлей и затем поплыли по широким водам, омывающим Морт-Медоу, где огромные стада гусей ничуть не сократились. И я с интересом подумал о том, как название и характер этого селения пережили старый несовершенный общинный строй и, пройдя сквозь период тяжелой борьбы с тиранией и правом частной собственности, сохранились до наступления спокойной и счастливой эпохи полного коммунизма.

Мне еще раз предложили сойти на берег в Годстоу, чтобы осмотреть руины древнего женского монастыря, находившиеся приблизительно в том же состоянии, что и раньше. С высокого моста над ближайшей ложиной я даже в полумраке смог разглядеть, каким красивым стало маленькое селение. Оно все состояло из серых каменных домов: ведь мы теперь вступили в страну камня, где каждый дом либо должен иметь стены и крышу из серого камня, либо он покажется безобразным пятном на общем пейзаже. Затем мы поплыли дальше, и в этот раз села на весла Эллен. Немного выше мы миновали небольшую запрудку и, оставив за собой еще около трех миль пути, при лунном свете причалили у маленького городка. Там мы заночевали в доме, где почти никого не было, так как его обитатели жили в палатках на сенокосе.

### *Глава XXVIII* **РЕКА**

Не было еще и шести часов, когда мы на следующее утро отправились в путь. Надо было спешить, так как мы все еще находились в двадцати пяти милях от нашей конечной цели, а Дик хотел добраться туда до сумерек. Путешествие проходило очень приятно, хотя тем, кто мало знает верхнее течение Темзы, много рассказывать о нем не стоит. Мы с Эллен опять оказались вместе в ее лодке, хотя Дик, справедливости ради, хотел перевести меня в свою лодку, а зеленую лодку-игрушку предоставить обеим женщинам. Но Эллен этому воспротивилась и потребовала в спутники меня, как самого «интересного человека» из всей компании.

--Забравшись так далеко,--сказала она,--я не удовольствуюсь спутником, который все время будет думать о ком-нибудь другом. Гость--единственный человек, который может как следует развлечь меня. Я говорю это серьезно,--добавила она, повернувшись ко мне,--а не только для того, чтобы сказать любезность.

Клара вспыхнула и, по-видимому, была очень довольна. Я до сих пор думаю, что она немного побаивалась Эллен. Что же касается меня, то я почувствовал себя вновь молодым, и странные мечты давно минувшей юности примешивались к радости настоящего, почти уничтожая ее и обращая в смутную боль.

Когда мы плыли по коротким плесам извилистой и быстро сужающейся реки, Эллен сказала:

--Как нравится мне эта узкая река! Я привыкла к широкому водному пространству, а здесь мне все кажется, что мы вот-вот достигнем конца и должны будем повернуть. Вечером я отправлюсь домой и к тому времени буду ясно представлять себе, какая маленькая страна Англия и как легко доехать от одного конца ее главной реки до другого.

--Страна невелика,--сказал я,--но она прекрасна!

--Да,--промолвила Эллен,--а не находите ли вы, что трудно представить себе то время, когда с этой маленькой живописной страной ее жители обращались как с унылой бесцветной пустыней, не охраняя ее нежной красоты, не понимая вечно новой радости от сменяющихся времен года, не присматриваясь к ее изменчивой погоде, к разнообразию почвы, и так далее. Как люди могли быть так жестоки к самим себе?

--И друг к другу,--добавил я. И тут я принял мгновенное и бесповоротное решение:--Дорогая соседка,--сказал я,--я хочу откровенно признаться, что я легче представляю себе уродливое прошлое, чем вы, так как я сам--частица этого прошлого. Я вижу, что вы уже заподозрили нечто в таком роде. Надеюсь, что вы мне поверите, когда я открою вам все. Я ничего не утаю от вас.

Она немного помолчала, а затем сказала:

--Друг мой, вы поняли меня, и, если сказать вам правду, я последовала за вами из Раннимеда с целью задать вам несколько вопросов. Я и сама видела, что вы не из нашей среды, и это заинтересовало меня. Мне хотелось, чтобы вы чувствовали себя счастливым. Моя затея была сопряжена с немалым риском,--добавила она, покраснев,--я имею в виду Дика и Клара. Раз мы с вами стали такими близкими друзьями, я должна сказать вам, что даже у нас, где столько красивых женщин, мне невольно случалось--и не раз--сильно кружить головы мужчинам. Это одна из причин, почему я живу вдвоем с дедом в Раннимеде, но и это не помогает. Ведь Раннимед не пустыня; люди приезжают, находят меня еще более интересной в моем одиночестве и начинают сочинять обо мне в своем воображении всякие небылицы, как и вы, друг мой! Но довольно об

этом!.. Сегодня вечером или завтра утром я попрошу вас сделать кое-что очень для меня приятное. Я думаю, это не огорчит и вас.

Я прервал ее, объявив с жаром, что сделаю для нее все на свете. Несмотря на прошедшие годы, оставившие глубокие следы в моей жизни, чувство возврата молодости не было у меня мимолетным. Да, несмотря ни на что, я был бесконечно счастлив в обществе этой обворожительной девушки и готовился к важному разговору с ней, придавая ему, может быть, даже большее значение, чем она сама.

Эллен засмеялась, но глядела на меня ласково.

--Итак,--сказала она,--сейчас мы это оставим, потому что я хочу любоваться прекрасными местами, которые мы проезжаем. Смотрите, как опять изменился вид реки! Она расширилась, плесы ее стали длиннее и течение в них медленнее. Взгляните--паром!

Я сообщил ей его название и замедлил ход лодки, чтобы перебросить цепь через наши головы, а затем мы поплыли дальше, оставив слева от себя поросшую дубами отмель. Река опять сузилась, стала глубже, и мы гребли меж двух стен из камыша. Овсянки и славки, населявшие его, перепархивали с места на место и щебетали вперебой, когда волна от движения лодки кольхала камыш.

Эллен радостно улыбалась, и ее спокойное наслаждение новым для нее пейзажем еще более оттеняло ее красоту. Она лежала, откинувшись на подушки, но не вялая и равнодушная. Ее праздность была праздностью человека, сильного телом и душой и сознательно дающего себе отдых.

--Смотрите,--сказала она вдруг, вскочив с места без всякого видимого усилия и балансируя в лодке с необыкновенной грацией и уверенностью.--Какой великолепный старый мост!

--Я и не глядя хорошо знаю его,--сказал я, не в силах отвести взор от ее красивого лица.--Я помню этот мост, только мы никогда не называли его «старым» мостом,--с улыбкой добавил я.

Ласково посмотрев на меня, она сказала:

--Как хорошо, что теперь вы больше не остерегаетесь меня!

И она продолжала задумчиво глядеть на меня, пока ей не пришлось снова сесть, так как мы проезжали под готической аркой моста, самого старого на Темзе.

--Какие чудесные поля!--воскликнула она--Я и понятия не имела, как очаровательна может быть такая маленькая речка! Миниатюрность размеров всего окружающего, частые излуины и быстрая смена видов создают впечатление путешествия куда то в сказочную страну, где ждешь все новых приключений. Я никогда не испытывала ничего подобного на широких водных просторах.

Я смотрел на нее с восхищением Ее голос, произносивший как раз то, что я сам думал, казался мне лаской. Девушка встретила мой взгляд, и щеки ее вспыхнули под загаром.

--Я должна сказать вам, друг мой,--заговорила она,--что, когда мой дед покинет летом Темзу, он возьмет меня с собой. Мы будем жить близ Римского вала в Кэмберленде. Эта поездка по Темзе--мое прощание с югом. Конечно, я соглашаюсь на нее по доброй воле, и все-таки мне жаль уезжать. Вчера я не решилась сообщить Дику, что мы окончательно покидаем берега Темзы, но что-то побуждает меня сказать это вам.--Она остановилась и задумалась, потом продолжала с улыбкой.--Я не люблю переселяться на новые места. В старом доме привыкаешь ко всем мелочам обихода, среди них чувствуешь себя спокойно, в полной гармонии с окружающим. И вдруг начинать все сначала, хотя бы и в самом малом масштабе! Это всегда болезненно. Наверно, в стране, откуда вы приехали, это сочли бы малодушием, косностью и там составилось бы обо мне скверное мнение.

Говоря так, она улыбалась мне необычайно приветливо, и я поспешил ответить:

--Конечно, нет! Но ваши мысли опять совпали с моими. Только я не мог ожидать, что вы выскажетесь именно так. Насколько я здесь слышал, у вас принято часто менять местожительство.

--Да,--сказала она,--люди вольны переселяться куда им угодно, но за исключением увеселительных поездок вроде нашей--особенно в период жатвы и сенокоса--люди странствуют мало. Не скрою, что и у меня иногда возникают настроения, когда что-то тянет меня из дома. Вот и теперь я хотела бы объехать с вами всю западную часть страны, ни о чем не думая,--с улыбкой закончила она.

--А мне сейчас об очень и очень многом надо подумать!--отозвался я.

## **Глава XXIX**

### **ОТДЫХ В ВЕРХОВЬЕ ТЕМЗЫ**

Мы остановились отдохнуть там, где река огибала травянистую возвышенность, и расположились на прекрасном берегу, который поднимался косогором на внушительную высоту. Перед нами раскинулись широкие луга, и здесь уже работали косари. Я заметил нечто новое в спокойной красоте лугов: там и сям были посажены деревья, часто попадались фруктовые. Люди теперь больше не скупилась уступить красивым

деревьям небольшое пространство, в котором те нуждались. И хотя ивы местами были подстрижены--это делалось для их улучшения и красоты.--их не стригли ряд за рядом, уничтожая на полмили живописность пейзажа, но обдуманно постепенно подравнивали во избежание оголения местности. Одним словом, за деревьями ухаживали для общего удовольствия и пользы, то есть именно так, как мне говорил старый Хаммонд.

На этом берегу, на склоне холма, мы устроили себе полдник. Для обеда было рановато, но нам хотелось подкрепиться, так как мы выехали рано.

Узкая лента Темзы вилась у наших ног по местности, как я уже говорил, похожей на парк. Недалеко от нас виднелся красивый островок, поросший стройными деревцами. По склонам к западу от нас поднимался лес смешанных древесных пород, нависая над узким лугом на южном берегу реки, а к северу от самого берега отлого повышалась широкая полоса лугов. Недалеке над чащей леса высился изящный шпиль старинного здания. Это здание со всех сторон плотно обступили несколько серых домов. Ближе к нам, в каких-нибудь ста шагах от воды, стояло большое каменное строение современного типа. Квадратное и одноэтажное, оно казалось очень низким. Между домом и рекой не было сада, ничего, кроме аллеи из грушевых деревьев, еще очень молодых и тонких. И хотя дом не отличался богатством украшений, в нем было какое-то естественное изящество, как и в молодых деревьях.

Сидя на берегу, мы любовались этой картиной светлого июньского дня. Мы не испытывали веселого возбуждения, а только тихое безмятежное счастье. Эллен, которая сидела рядом со мной, охватив руками колени, наклонилась ко мне и сказала тихим голосом, который Клара и Дик все же могли бы услышать, не будь они так безмолвно и влюбленно поглощены друг другом:

--Друг, в вашей стране дома земледельцев похожи на этот дом?

--Во всяком случае,--ответил я,--дома богачей на него не похожи: они словно пятна на лице земли.

--Мне трудно это понять,--сказала она.--Я могу представить себе, почему рабочие, которые там так угнетены, не могут жить в прекрасных зданиях. Чтобы создать красивое жилище, нужны время, досуг и голова, не перегруженная заботами, и я отлично понимаю, что бедный народ не может иметь все те хорошие вещи, которые мы считаем необходимыми для себя. Но почему же богатые люди, у которых есть и время, и досуг, и строительные материалы, не создают себе красивых жилищ? Это непонятно. Я знаю, что вы хотите мне сказать,--добавила она, взглянув мне прямо в глаза и покраснев,--что их дома и вещи безобразны и пошлы, если им не посчастливилось быть старинными, как вон тот памятник труда наших предков (она указала на шпиль). Все они... простите, я не нахожу слова...

--Вульгарны,--докончил я за нее.--Мы всегда говорим, что безобразие и вульгарность жилищ богатых людей--неизбежное следствие нищеты и скудости, на которую они обрекают бедных.

Эллен задумчиво нахмурила брови, потом радостно

обратила ко мне лицо, словно поймав какую-то ускользавшую мысль, и сказала:

--Да, друг, я вас понимаю. Иногда мы, точнее--те из нас, кто интересуется этими вопросами, обсуждали все это. У нас осталось много свидетельств о так называемом искусстве времен до эпохи Равенства. И многие говорят, что не в условиях существования тогдашнего общества причина этого всеобщего безобразия. Безобразие распространялось на все проявления жизни, потому что оно нравилось людям. Они могли бы окружать себя прекрасными вещами, если бы стремились к этому, как теперь каждый при желании создает более или менее красивые вещи по своему вкусу... Стойте! Я знаю, что вы мне скажете!

--Знаете?--проговорил я, улыбаясь, но с сильно бьющимся сердцем.

--Да,--промолвила она,--вы отвечаете мне и учите меня тем или иным вещам, даже не произнося ни слова! Вы хотели сказать, что во времена неравенства характерной чертой существования богатых людей было то, что у них не полагалось самим изготавливать предметы для украшения своей жизни. Они поручали эту работу тем, кого они принуждали жить под гнетом и в нищете. Естественно, что скудость, приниженность и уродливая нагота этих несчастных сказывались в украшениях, предназначенных для богачей, и, таким образом, искусство умерло среди людей. Не это ли вы хотели сказать, друг мой?

--Да, да,--подтвердил я, любуясь ею: она стояла на берегу, ветерок играл ее легким нарядом, одну руку она прижала к груди, другую, в увлечении своей речью, сжав в кулачок, опустила вниз.

--Это правда, правда!--повторила она еще раз--Мы доказали справедливость этих слов!

Я же думал про себя: «Ведь я чувствую нечто большее, чем интерес к ней и восхищение ею!» И я стал уже задумываться, чем все это кончится. Мгновенный страх охватил меня: кто знает, какое средство «исцеления» предлагает эта новая эпоха для возмещения утраты того, что дорого нашему сердцу!

Вдруг Дик поднялся с места и крикнул своим обычным бодрым голосом:

--Соседка Эллен, вы, кажется, ссоритесь с гостем? Или требуете от него объяснений, которых он не может дать таким невеждам, как мы?

--Ни то, ни другое, дорогой сосед,--ответила она.--Я была очень далека от ссоры с ним. Мы стали друзьями, и я, кажется, даже помирила его с самим собой. Не так ли, дорогой гость?--промолвила она с очаровательной улыбкой уверенности в том, что я ее понял.

--Да, это так,--сказал я.

--Кроме того,--продолжала она,--я должна сказать, что он объяснил мне нечто очень важное, так что я теперь вполне его понимаю.

--Отлично,--произнес Дик.--Когда я впервые увидел вас в Раннимеде, я сразу заметил, что у вас удивительно острый ум. Я говорю это не как любезность, чтобы доставить вам удовольствие,--поспешно добавил он,--но потому, что это правда. Тогда же мне захотелось лучше узнать вас. Однако нам пора в дорогу. Мы не прошли еще и половины пути, а должны быть на месте до заката.

С этими словами он взял Клару за руку и повел ее вниз, с холма. Но Эллен стояла задумавшись, глядя в землю, и, когда я взял ее за руку, чтобы следовать за Диком, она, обернувшись ко мне, сказала:

--Вы могли бы многое рассказать мне и многое мне объяснить, если бы хотели.

--Да,--сказал я,--такой старик, как я, годится для этого, но и только.

Она не заметила горечи, которая против желания прозвучала в моем голосе, и продолжала:

--Я думаю не о себе одной. Мне было бы достаточно помечтать о прошлых временах, и если я не могу их превозносить, то, во всяком случае, могу восхищаться некоторыми людьми, которые тогда жили. Я иногда думаю, что люди слишком небрежно относятся к истории, слишком равнодушно оставляют ее в руках старых ученых, подобных Хаммонду. Кто знает? Сейчас мы счастливы, но времена могут измениться. В нас может зародиться жажда перемен. Многое покажется нам слишком чудесным, чтобы ему противиться, слишком увлекательным, чтобы за него не ухватиться, если мы не будем знать, что все это--только фазы того, что уже когда-то было и привело к разорению, разочарованию и нищете.

Когда мы медленно спускались к лодке, Эллен сказала:

--Не ради себя одной я вас расспрашиваю, дорогой друг. У меня будут дети, и, я надеюсь, много. И хотя я не вправе навязывать им какие-то особые взгляды, я все же могу рассчитывать, что подобно внешнему сходству они, возможно, унаследуют кое-что и из моего образа мыслей. Это существенная часть меня самой, независимая от временных настроений, навеянных событиями и обстановкой, меня окружающей. Что вы об этом думаете?

В одном я был уверен: что ее красота, доброта и вдумчивость заставляли меня мыслить согласно с нею, не считая тех минут, когда она открывала свою душу, чтобы воспринимать мои мысли! Я сказал, и это было в ту минуту правдой, что тоже считаю все это чрезвычайно важным. Я стоял, завороченный ее чудесной грацией, когда она легко вошла в лодку и протянула мне руку. Мы снова поплыли вверх по Темзе. Куда?

### **Глава XXX КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ**

Мы продолжали путь. Несмотря на смятение чувств, вызванное Эллен, и возрастающий страх перед тем, к чему это приведет, я все же с огромным интересом следил за рекой и ее берегами, тем более что Эллен не уставала любоваться меняющимися картинами и смотрела на цветущие берега с тем же восторженным любопытством, которое когда-то испытывал я сам и, пожалуй, не совсем утратил даже теперь, наблюдая этот странно изменившийся общественный строй со всеми его чудесами. Эллен, по-видимому, была очень довольна тем, что я испытываю удовольствие и что меня радует заботливое отношение жителей к реке, например, внимательный уход за живописными уголками или остроумное решение гидротехнических вопросов. Все необходимые сооружения были выполнены естественно и красиво. Все это восхищало меня, а Эллен радовалась моей радости, хотя и была ею немного смущена.

--Вы, кажется, удивлены,--сказала она, когда мы только что проехали мимо мельницы<sup>1</sup>, плотина которой преграждала всю реку, кроме узкой полосы, оставленной для прохода судов. Эта мельница была в своем роде прекрасна, как готический собор.--Вы, кажется, удивлены, что она так радует глаз?

--Да, в известной мере,--сказал я,--а впрочем, почему ей не быть красивой?

--Ах,--сказала Эллен, посмотрев на меня одобрительно, но с затаенной усмешкой,--вы так хорошо знаете историю прошлого. Неужели люди не всегда заботливо относились к этой речке, которая вносит столько красоты в картину здешнего края? Это не требовало бы большого труда. Но я забыла,--продолжала она, встретившись со мной взглядом,--в те дни, о которых мы оба думаем, радостью и красотой совершенно

---

<sup>1</sup> Нужно сказать, что вдоль Темзы стояло множество мельниц, служивших для разных целей. Среди них не было ни одной невзрачной, а многие — поразительно красивы. Сады вокруг них были прелестны. (Прим автора.)

пренебрегали. А как обстояло дело с рекой в те дни, когда вы...--Она хотела сказать: «когда вы жили», но тут же поправилась:--В те дни, о которых у вас сохранилось воспоминание?

--Люди портили ее,--сказал я.--До первой половины девятнадцатого века, когда она была проезжей дорогой для сельских жителей, река и ее берега известным образом охранялись. И хотя я не думаю, чтобы кто-либо особенно заботился о ее красоте, все же она была чиста и прекрасна. Но когда получили развитие железные дороги, о которых вы без сомнения слышали, сельским жителям запретили пользоваться естественными и искусственными водными путями (последних было очень много). Поднявшись выше, мы увидим один из них, очень нужный, который был совершенно закрыт для пользования в интересах одной из железных дорог. Люди были вынуждены отправлять товары в поездах этой дороги, которая взимала за провоз сколько хотела.

Эллен весело рассмеялась.

--Да,--сказала она,--это еще недостаточно ясно отмечено в наших книгах по истории, но достойно изучения. Однако, право, люди тех дней были удивительно ленивы. Мы теперь не любим спорить и драться, но если бы кто-нибудь попробовал ставить нам такие нелепые запреты, мы продолжали бы пользоваться этими водными путями, что бы нам ни говорили. Это было бы очень просто. Кстати, я вспоминаю другие случаи подобной нелепости: когда два года назад я побывала на Рейне, мне показали развалины старых замков, владельцы которых, по рассказам, ставили себе такие же цели, как и заправили железных дорог. Но я прервала ваш рассказ о реке. Пожалуйста, продолжайте!

--История достаточно короткая и глупая,--сказал я.--Река, потеряв свою практическую и коммерческую ценность, то есть перестав быть источником дохода...

--Я понимаю, что означает эта странная фраза,--вставила она, кивнув головой.--Продолжайте!

--...была совершенно запущена и в конце концов сделалась чем-то ненужным и лишним.

--Да,--сказала Эллен,--я понимаю: подобно железным дорогам и рыцарям-разбойникам.

--Тогда, чтобы как-нибудь решить вопрос, ее поручили особому комитету в Лондоне, который от времени до времени, чтобы показать, что он что-то делает, производил там и сям разрушения, рубил деревья во вред берегам, посылал землечерпалки туда, где это не было нужно, и выбрасывал ил на поля, чем портил их, и так далее. Но обычно члены комитета пребывали, как тогда говорили, в «олимпийском спокойствии», то есть получали жалованье и бездельничали.

--«Получали жалованье»,--сказала Эллен.--Я знаю, что это значит: им разрешалось за ничегонеделание брать себе лишнюю долю из заработка других людей. И если бы дело этим ограничивалось, стоило бы предоставить им эту возможность, раз не было другого способа заставить их сидеть смирно. Но мне кажется, что, получая плату, они не могли совсем ничего не делать и, стало быть, делали что-то вредное, так как,--сказала она, вскипев внезапным гневом,--все у них было основано на лжи и притворстве. Я говорю не только об этих охранителях рек, но и обо всех чиновниках и сановниках, о которых я читала.

--Да,--сказал я,--как вы счастливы, что вышли из-под гнета нужды!

--Почему вы вздыхаете?--ласково и немного тревожно спросила она.--Вы словно думаете, что наше благополучие не прочно.

--Оно прочно для вас,--сказал я.

--Но почему же и не для вас?--удивилась она.--Ведь это для всего мира, и если ваша страна немного отстала, наверно, она не замедлит сравняться со всеми! Или,--быстро добавила она,--вы думаете, что скоро должны будете вернуться туда? Я сейчас выскажу вам свое предложение, о котором говорила, и тем самым, может быть, положу конец вашему беспокойству. Я хочу предложить, чтобы вы жили с нами там, куда мы переедем. Мы с вами стали друзьями, и мне было бы жаль потерять вас!--Она снова улыбнулась мне и продолжала:--Вы знаете, я начинаю думать, что вы страдаете от мнимого горя, подобно неким чудакам в старинных романах, тех, что иногда мне попадались под руку.

Я и сам начинал подозревать нечто подобное, но отказывался в этом себе признаться. Взяв себя в руки, я больше не вздыхал, а только рассказывал моей очаровательной спутнице исторические эпизоды, связанные с рекой и ее берегами, и время прошло очень приятно. Гребя поочередно (она была лучшим гребцом, чем я, и казалась неутомимой), мы, несмотря на жаркий день, не отставали от Дика и быстро подвигались вперед. Под конец мы прошли еще под одним старинным мостом и плыли теперь меж лугов, окаймленных огромными вязами, вперемежку с более молодыми, но очень красивыми каштанами. Луга расстились так широко, что казалось, деревья росли только по краям их или у домов, за исключением ивовых рощ на самих берегах. Таким образом, пространство, поросшее травой, почти не прерывалось. Дик волновался, часто вскакивал в лодке и кричал нам, что мы проезжаем мимо такого-то и такого-то поля. Нас тоже захватил его энтузиазм, и мы старались грести как можно быстрее. Наконец, когда мы проезжали по плесу, где на стороне бечевника

шептались густые камыши, а более высокий противоположный берег окаймляли старые вязы и плакучие ивы, почти касавшиеся воды,--мы увидели ярко одетых людей, направлявшихся к берегу и как будто кого-то искавших. И действительно, они искали Дика и его спутницу.

Дик налег на весла, и мы последовали его примеру. Он радостно приветствовал людей на берегу, и ему ответил целый хор голосов, низких и звонких, так как встречающих было не менее десятка--взрослых и детей. Высокая, красивая женщина с волнистыми черными волосами и глубоко посаженными серыми глазами вышла вперед, помахала нам рукой и сказала:

--Дик, мой друг, вы чуть не опоздали. Чем вы оправдаете такую рабскую пунктуальность? Почему вам было не порадовать нас неожиданностью, приехав вчера?

Дик чуть заметно кивнул в сторону нашей лодки.

--А мы не хотели ехать слишком быстро: на реке много такого, на что любопытно посмотреть тем, кто здесь никогда не бывал.

--Правда, правда,--сказала статная женщина, ибо она была именно такой,--мы хотим, чтобы они хорошо узнали водный путь с востока. Мы надеемся, что они теперь часто будут им пользоваться. Но выходите скорей на берег. Дик, и вы, милые соседи: тут за поворотом есть просвет в камышах и удобное место для причала. Мы можем перенести ваши вещи или послать за ними кого-нибудь из мальчиков.

--Нет, нет,--сказал Дик,--легче подъехать водой. И всего-то осталось два шага, но мне хочется довести моего друга до самого места. Мы проедем к броду, а вы идите по берегу вровень с нами. Так мы сможем даже разговаривать.

Он опустил весла, и мы двинулись вперед, круто повернув к северу. Перед нами был откос, поросший вязами, и казалось, посреди них должен быть дом, хотя я напрасно искал глазами серые стены. Пока мы плыли дальше, люди с берега беседовали с нами, присоединяя свои приятные голоса к голосу кукушки, свисту дроздов и неумолчному крику коростелей в густых стеблях, откуда доносились до нас волны аромата цветущего клевера и других трав. Через несколько минут, миновав глубокий водоворот, мы встретили быстрое течение, шедшее со стороны брода, посадили лодки на маленькую песчаную отмель, затем вышли на берег и попали в объятия наших друзей. Путешествие к верховью Темзы было окончено. Я отошел от веселой толпы и, поднявшись на проезжую дорогу, которая тянулась вдоль реки, в нескольких шагах над водой, осмотрелся. Река протекала между широкими лугами, сероватыми от зрелых семенящихся трав. Сверкающая вода скрывалась за поворотом берега, а над лугом виднелись остроконечные фронтоны здания, где должен был быть шлюз, теперь, по-видимому, соединенный с мельницей. С юга и юго-востока, откуда мы прибыли, долину реки окаймляла цепь лесистых холмов. У их подножья и по склонам были разбросаны немногочисленные низкие дома.

Немного повернувшись вправо, я за боярышником и высокими кустами диких роз мог видеть широкую равнину, уходившую вдаль под мирным вечерним солнцем к еле намеченным голубой линией на горизонте пологим холмам, вероятно служившим пастбищами для овец. Передо мной листва вязов все еще скрывала дома этой заселенной речной полосы, но вправо от дороги там и сям виднелось несколько простых серых построек.

Я стоял в мечтательном настроении и протирал глаза, будто я еще не совсем проснулся и ожидал увидеть, что это ярко одетое общество прекрасных людей вдруг превратится в тощих сутулых крестьян с пустым взглядом и несчастных изможденных женщин, которые когда-то изо дня в день, из лета в лето, из года в год попирали эту землю своей унылой, тяжелой поступью. Но превращения пока не произошло, и мое сердце наполнилось радостью при мысли о прелестных серых поселках от реки до равнины и от равнины до гор, поселках, которые я так ясно мог себе представить и где теперь жил счастливый, здоровый народ, который отбросил богатство и обрел благоденствие.

### *Глава XXXI*

## **СТАРЫЙ ДОМ СРЕДИ МОЛОДОГО НАРОДА**

Пока я так стоял, Эллен отделилась от наших счастливых друзей, которые задержались у маленькой пристани, и подошла ко мне. Взяв меня за руку, она тихо сказала:

--Проводите меня прямо к дому. Нам незачем ждать остальных, мне бы этого не хотелось.

Я собирался ответить, что не знаю дороги и что нас должны отвести туда местные жители. Но, почти помимо моей воли, ноги понесли меня по знакомой дороге. Дорога привела нас на небольшое поле, ограниченное с одной стороны заводью реки. Направо была группа маленьких домов и сараев, старых и

новых, а перед нами--каменный серый амбар и заросшая плющом стена, над которой высилось несколько серых остроконечных фронтонов.

Проселочная дорога кончалась у берега мелкой заводи. Мы пересекли дорогу, и, опять почти помимо воли, моя рука нажала на щеколду калитки. Мы очутились на каменной дорожке, которая вела к старому дому, куда судьба, в образе Дика, так странно привела меня в этом новом мире. У моей спутницы вырвалось восклицание радости и удивления. Я понял, ее, так как сад между стеной и домом благоухал июньскими цветами и розы теснились одна над другой в пышном изобилии хорошо возделанного цветника, при виде которого рассеиваются мысли и остается только впечатление восхитительной красоты. Дрозды громко пели, голуби ворковали на коньке крыши, грачи в высоких вязах перекинулись среди молодой листвы, и ласточки кружились над кровлей. А сам дом был достойным стражем всей красоты этого летнего дня.

--Да, друг, чтобы увидеть это, я и приехала сюда,--сказала Эллен, и ее слова прозвучали как отголосок моих мыслей.--Этот старый дом с островерхими крышами, построенный простыми сельскими людьми давно прошедших дней, несмотря на всю городскую суету, остался прелестным и теперь, среди красоты, созданной новейшим временем, и я не удивляюсь, что наши друзья так берегут и ценят его. Он словно ждал наших счастливых дней и сохранял в себе крупинцы счастья, разбросанные в смутном и тревожном прошлом.

Она подвела меня совсем близко к дому, положила изящную смуглую руку на замшелую стену, как бы обнимая ее, и воскликнула:

--О, как я люблю землю, и времена года, и бури, и все, что связано с Природой, и все, что она порождает, как этот сад!

Я не мог ответить ей или произнести хоть слово. Ее возбуждение и радость были так остры и сильны, ее красота так нежна, хотя и полна энергии, и она так полно выражала свои чувства, что всякое слово было бы лишним. Я боялся, что внезапно появятся люди и разобьют чары, которыми она меня околдовала. Мы стояли некоторое время возле дома, и никто не приходил сюда. Но вот я услышал в отдалении веселые голоса и понял, что наши друзья пошли вдоль берега к большому лугу по ту сторону дома и сада.

Мы немного отошли от дома и посмотрели на него: дверь и окна были открыты для доступа душистого, пронизанного солнцем воздуха, из верхних окон свешивались гирлянды цветов в честь праздника, словно и они разделяли любовь к старому дому.

--Войдем,--сказала Эллен,--я надеюсь, он не испорчен внутри. Войдем! Мы скоро должны будем вернуться к остальным. Они, наверно, пошли к палаткам. У них должны быть раскинута палатки для косарей: дом не мог бы вместить и десятой части всего народа.

Она повела меня к двери, прошептав еле слышно:

--Земля, ее расцвет, ее жизнь! Если бы я только могла высказать или показать, как я ее люблю!

Мы вошли в дом и, не встречая ни души, переходили из комнаты в комнату, от обвитой розами веранды до причудливых мансард под большими стропилами крыши. Здесь в прежние времена спали батраки и пастухи поместья, но теперь эти мансарды, судя по маленьким кроватям, букетам увядших цветов, перьям птиц, скорлупкам дроздовых яиц и тому подобным бесполезным предметам, казались населенными детьми.

Мебели везде было мало: только самые необходимые вещи простейшего вида. Общая любовь к украшению, которую я повсюду замечал у этих людей, здесь, казалось, сдерживалась сознанием, что этот дом и сад сами были украшением местной жизни, памятником, сохранившимся от стародавних времен. Украшать его значило бы отнять у него его естественную красоту.

Мы сели наконец в комнате, находившейся над той стеной, которую ласкала смуглая ручка Эллен. Комната все еще была увешана старыми коврами, не имевшими первоначально большой художественной ценности, но теперь выцветшими так, что приятные серые тона прекрасно гармонировали с покоем и тишиной этого места. Очень неудачной была бы мысль заменить эти драпировки более яркими и нарядными украшениями. Я задал Эллен два-три случайных вопроса, но едва слушал ее ответы. Вскоре я замолчал совсем и сознавал только, что нахожусь в этой старой комнате и что с крыши и голубятни доносится воркование голубей.

Не прошло и двух минут, как я вновь овладел своими мыслями, но мне казалось, что это смутное состояние длилось долгое время. Я увидел Эллен, еще более полную жизни и радости от контраста с серым поблекшим ковром, рисунок которого выцвел и который не оскорблял глаз лишь потому, что сделался таким слабым и тусклым. Она смотрела на меня ласково, но так, словно видела малейшие движения моей души.

--Вы опять начали свое бесконечное сравнение настоящего с прошлым,--молвила она.

--Это правда,--ответил я.--Я задумался о том, кем бы вы были в прошлое время, вы--с вашими способностями и умом, сочетающимися с любовью к удовольствиям и непризнанием всяких бессмысленных ограничений. И даже теперь, когда все уже давно достигнуто, мое сердце страдает при мысли о той бесплодной трате жизненных сил, которая длилась столько лет.

--Столько столетий,--сказала она,--столько веков!

--Правда,--сказал я,--великая правда!

И я снова замолчал.

Она встала.

--Пойдем, я не хочу, чтобы вы так глубоко задумывались. Если мы должны потерять вас, я хотела бы, чтобы вы увидели все, что возможно, прежде чем вернуться.

--Потерять меня?--повторил я за ней.--Вернуться? Разве я не еду с вами на Север? Что вы хотите этим сказать?

Она улыбнулась как-то грустно и отвечала:

--Не теперь! Не будем говорить об этом теперь! Но только о чем вы сейчас думали?

Я пробормотал, запинаясь:

--Я говорил себе: прошлое--настоящее?...--Не следовало ли ей сказать о контрасте настоящего и будущего, глухого отчаяния и надежды?

--Я так и знала!--сказала Эллен. Потом, схватив меня за руку, она взволнованно продолжала:--Пойдем, пока еще есть время, пойдем!

Она вывела меня из комнаты, и мы спустились по лестнице. В небольшом вестибюле была боковая дверь в сад.

Спокойным голосом, как бы желая загладить свою внезапную нервность, Эллен сказала:

--Пойдем, мы должны присоединиться к другим, прежде чем они придут сюда нас разыскивать. И позвольте мне сказать вам, мой друг: я вижу, что вы очень склонны погружаться в бесплодные мечтательные раздумья. Это, без сомнения, оттого, что вы еще не привыкли к нашей спокойной жизни среди бодрой деятельности, к труду, который стал удовольствием, и к удовольствию, которое мы черпаем в труде.

Она немного помолчала и, когда мы снова вышли в прелестный сад, промолвила:

--Мой друг, вы думали о том, кем бы я была, если бы жила в прошедшие времена неурядиц и угнетения. Что ж, я достаточно знаю историю, чтобы ответить на этот вопрос: я принадлежала бы к беднякам, так как мой отец, когда работал, был простым земледельцем. Я не могла бы этого перенести, и, значит, моя красота, мой ум и веселость (она говорила без всякого жеманства или ложной скромности) продавались бы богатым людям, и моя жизнь пошла бы прахом. У меня не было бы выбора, не было бы власти над своей жизнью, и я, в свою очередь, никогда не могла бы купить у богачей удовольствие или хотя бы возможность распоряжаться собой. Так или иначе, но я погибла бы--либо от нищеты, либо от роскоши.

--Это правда,--согласился я.

Она собиралась еще что-то сказать, но тут открылась маленькая калитка, которая вела в окруженное вязами поле, и по садовой дорожке к нам быстрым и бодрым шагом подошел Дик. Он стал между нами и положил каждому из нас руку на плечо.

--Я так и думал,--сказал он,--что вы пожелаете осмотреть старый дом спокойно, когда в нем не толпится народ. Правда, это настоящая жемчужина... А теперь пойдем, приближается время обеда. Может быть, гость, вы хотели бы выкупаться, прежде чем мы сядем за стол? Я думаю, пир продолжится долго.

--Да,--сказал я,--я был бы не прочь искупаться.

--В таком случае, до свиданья, соседка Эллен,--сказал Дик,--вот идет Клара, она позаботится о вас. Наверно, она здесь больше у себя дома, чем вы, среди наших друзей.

В это время подошла с поля Клара. Бросив последний взгляд на Эллен и, по правде сказать, сомневаясь, увижу ли ее вновь, я повернулся и пошел за Диком.

### *Глава XXXII*

### **НАЧАЛО ПРАЗДНЕСТВА. КОНЕЦ РАССКАЗА**

Дик повел меня прямо на небольшой луг, который--как видно было из сада--пестрел разноцветными палатками, расставленными правильными рядами. У этих палаток сидели и лежали на траве с полсотни взрослых и детей, все веселые, радостные, как говорится--в самом праздничном настроении.

--Вы думаете, что нас не так уж много?--сказал Дик.--Но вы должны помнить, что завтра к нам придет подкрепление. На сенокосе хватает места для многих людей, не слишком искусных в сельскохозяйственных работах. Есть немало таких, которые ведут сидячий образ жизни, и было бы жестоко лишать их удовольствия поработать в поле: в большинстве, это люди науки и студенты. Опытные работники, кроме тех, которые нужны для руководства работой, часто остаются при этом в резерве и пользуются отдыхом, который, как вы знаете, необходим, независимо от того, стремятся они к нему или нет. Иногда же они едут в другие местности, как, например, поступил я, явившись сюда. Видите ли, ученый люд пригодится здесь тогда, когда уборка будет в самом разгаре и мы начнем ворошить сено. Это значит--не ранее чем послезавтра.

Говоря это, он вывел меня с поля на мощеную дорогу, идущую через прибрежный луг. Свернув затем влево, на тропинку, среди колышущейся травы, которая была очень густа и высока, мы вышли к реке, повыше запруды и мельницы. Там мы великолепно выкупались в заводи над плотиной, где река благодаря запруде была гораздо шире, чем в других местах.

--Теперь нам в самую пору пообедать,--сказал Дик, когда мы, одевшись, шли опять среди трав,--и, конечно, обед в честь сенокоса самый веселый из всех веселых обедов в году, не исключая праздника жатвы: тогда дни идут уже на убыль, и за всем весельем чувствуешь приближение сумрачных дней. На полях одно жниво, сады опустели, а весна еще так далека, что не приходится и мечтать о ней. Тогда, осенью, человек начинает верить, что существует смерть.

--Как странно вы говорите,--сказал я,--о таком постоянном и закономерном явлении, как чередование времен года!

Действительно, эти люди были в таких вопросах словно дети и испытывали, казалось мне, преувеличенный интерес к погоде, к ясному дню, к темной, сверкающей звездами ночи.

--Странно?--переспросил он.--Странно сочувствовать природе, ее радостям и печалям?

--Во всяком случае,--сказал я,--если вы смотрите на смену времен года, как на прекрасную и интересную драму, то, я думаю, вы должны были бы любить и зиму с ее заботами и горестями, наряду с чудным летним великолепием.

--А разве нет?--горячо ответил Дик--Только я не могу относиться к ней так, как если бы я сидел в театре и смотрел пьесу, не принимая в ней никакого личного участия.--Он добродушно улыбнулся и продолжал:--Трудно такому неначитанному человеку, как я, толково объяснить свои мысли, как сделала бы это замечательная девушка Эллен. Но я считаю себя частицей мира и ощущаю общее страдание, как и общую радость. Мир существует не только для того, чтобы я мог есть, пить и спать: я сам вношу свою долю в его жизнь.

Как и Эллен, Дик по-своему ощущал ту же странную любовь к земле, что была свойственна лишь немногим людям в дни, которые я помнил. В те дни среди мыслящих людей преобладало раздраженное и неприязненное отношение к драматическому круговороту времен, к жизни земли и к зависимости от нее человека. В то время считалось поэтичным и утонченным смотреть на жизнь, как на нечто такое, что нужно терпеть, а не как на источник наслаждения.

Так я раздумывал, как вдруг смех Дика вернул меня в луга Оксфордшира.

--Одно мне кажется странным,--сказал он.--Почему я должен беспокоиться о зиме и ее скудости среди изобилия лета? Если бы это не случилось со мной раньше, я подумал бы, что это дело ваших рук, гость, что вы опутали меня злыми чарами. Но это только шутка,--поспешил он добавить,--не принимай те моих слов близко к сердцу.

--- Хорошо, не буду,--сказал я, но почувствовал себя от его слов как-то неловко.

Мы вышли на мощеную дорогу, но не пошли по ней к дому, а направились по тропинке вдоль пшеничного поля, уже начинавшего цвести.

--Разве мы обедаем не в доме или в саду?--спросил я--Где же мы в таком случае соберемся? Я вижу кругом лишь маленькие домики.

--Да,--сказал Дик,--в этих краях дома очень малы. Здесь сохранилось так много небольших старинных домов, что люди охотно селятся в них, особенно если эти дома стоят не скученно. Что же касается нашего обеда, то мы будем пировать в церкви. Вы наш гость, и я жалею, что она не так обширна и красива, как в старом римском городе к западу или в лесном городе к северу<sup>1</sup>. Все же она вместит нас всех. Это здание не велико, но по своему красиво.

Обед в церкви! Это было что-то новое для меня, и я подумал о средневековых церковных трапезах, но ничего не сказал. Тем временем мы вышли на дорогу, проходившую по селению. Дик огляделся и, увидев две-три группы отставших, сказал мне:

--Кажется, мы немного запоздали. Почти все уже пришли и, наверно, ожидают вас, как самого почетного гостя, прибывшего из такой дали.

Он пошел быстрее, и я едва поспевал за ним. Мы свернули в короткую липовую аллею, которая привела нас прямо к церковному portalу. Из открытых дверей доносились смех и гул веселых голосов.

--Да,--сказал Дик,--во всяком случае, тут самое прохладное место в этот жаркий вечер. Войдем! Вам будут рады.

Действительно, несмотря на купанье, вечер казался мне знойным и более душным, чем обычно.

---

<sup>1</sup> Он, очевидно, подразумевал Сайренсестер и Барфорд. (Прим автора)

Мы вошли в церковь, небольшое простое здание с алтарем, одним приделом, отделенным от главного нефа тремя круглыми арками и довольно большим для такого маленького здания поперечным нефом. Старинные окна четырнадцатого века были большей частью изящного оксфордского образца.

В церкви не было никаких более поздних архитектурных украшений: по-видимому, никто и не пытался украшать ее с того времени, когда пуритане покрыли слоем штукатурки изображения средневековых святых и священных сцен на ее стенах.

Однако она была принаряжена к сегодняшнему празднеству цветочными гирляндами, протянутыми от арки к арке, и огромными кувшинами с цветами, расставленными на полу. Под западным окном были прикреплены две скрещенные косы, и отточенные блестящие лезвия сверкали среди обвитых вокруг них цветов. Но лучшим украшением здания были красивые, счастливые мужчины и женщины, сидевшие за столом. Их лица сияли, густые кудри падали им на плечи. В ярких праздничных одеждах они походили на «тюльпаны под солнцем», как говорит персидский поэт.

Хотя церковь была мала, места хватало с избытком, так как самая маленькая церковь может заменить большой дом. Поэтому не пришлось расставлять столы в поперечном нефе. Вот на следующий день это, наверно, потребует, когда ученые, о которых говорил Дик, явятся принять скромное участие в сенокосе.

Я стал на пороге с улыбкой ожидания на лице, как человек, который пришел на праздник и действительно намерен им насладиться. Дик, стоя рядом со мной, осматривал всю компанию, как мне показалось, с видом хозяина. Напротив меня сидели Клара и Эллен. Между ними было свободное место для Дика. Они улыбались, обернувшись к своим соседям, с которыми оживленно беседовали, и как будто не замечали меня. Я взглянул на Дика, ожидая, что он поведет меня вперед. Он смотрел в мою сторону, улыбался и был весел, как всегда. Но он не ответил на мой взгляд,--нет, он совершенно не обращал на меня внимания, словно меня тут и не было, и тогда я заметил, что никто из присутствующих не смотрит на меня. Сердце мое пронзила острая боль, как при страшном несчастье, давно ожидаемом и вдруг разразившемся.

Дик подвинулся немного вперед, не сказав мне ни слова. Я находился в каких-нибудь трех шагах от обеих женщин, которые, хотя и были моими спутницами очень короткое время, но, думалось мне, стали моими друзьями. Клара теперь повернулась в мою сторону, но и она, казалось, не видела меня, хотя я и старался поймать ее взгляд, умоляюще смотря на нее. Я обратился к Эллен. Она как будто на мгновение узнала меня, но ее светлое лицо омрачилось печалью, она с грустным видом покачала головой, и какие-либо признаки того, что она видит меня, исчезли с ее лица.

Я почувствовал себя одиноким, у меня стало невыразимо тяжело на душе. Я подождал еще немного, потом повернулся и вышел из портала. Липовая аллея снова вывела меня на дорогу. Дрозды распевали во весь голос, и меня обдало зноем этого июньского вечера.

Еще раз, без всякого сознательного усилия воли, я посмотрел на старый дом у брода. Повернув за угол дома и идя по тропинке, которая вела к остаткам старинного креста, я наткнулся на фигуру, резко отличавшуюся от тех прекрасных, радостных людей, которых я оставил в церкви. Это был человек, казавшийся стариком, но ему--я это знал--в действительности было немногим больше пятидесяти лет. Его морщинистое лицо было испачкано сажей, тусклые глаза слезились, он весь согнулся и брел, пошатываясь на тонких паучьих ногах. Его одежда--так хорошо мне знакомая!--состояла из грязных лохмотьев. Когда я поравнялся с ним, он дотронулся до своей шляпы с доброжелательством и вежливостью, но, как мне показалось, с немалой долей подобострастья.

Потрясенный, я поспешил пройти мимо него и быстро пошел по дороге к реке и краю селения. Но вдруг черная туча покатила мне навстречу, как в кошмарах моих детских лет. Некоторое время я ничего не сознавал, кроме того, что нахожусь во мраке. Но двигался ли я, сидел или лежал, я не мог бы сказать.

\* \* \*

Я лежал в своей постели, в своем доме в грязном и унылом Хэммерсмите и размышлял о случившемся. Пришел ли я в отчаяние, поняв, что мне приснился сон? Как это ни странно, но надо сказать, что я не слишком опечалился.

Но было ли это действительно сном? Если да, то почему я все время сознавал, что наблюдаю новую жизнь со стороны и что я все так же окутан предрассудками, заботами и недоверчивостью своего времени, времени сомнений и борьбы?

Хотя мои новые друзья и были для меня вполне живыми, тем не менее я все время чувствовал, что я им чужд и что наступит час, когда они отвергнут меня и скажут, как, казалось, говорил мне последний грустный взгляд Эллен:

«Нет, так нельзя, ты не можешь быть с нами. Ты настолько принадлежишь несчастному прошлому, что даже наше счастье было бы тебе в тягость. Возвращайся теперь к своим. Ты видел нас, и ты постиг, что, вопреки непогрешимым догматам твоих дней, человечество ждет эпоха спокойствия. Она наступит, когда господство превратится в содружество, но не раньше. Возвращайся же и, пока ты будешь жить, ты будешь видеть вокруг себя людей, заставляющих других жить чуждой им жизнью, так как никто из них не дорожит по-настоящему своей собственной. Они ненавидят жизнь, хотя и боятся смерти. Ступай обратно и будь счастлив тем, что, увидев нас, ты можешь внести немного надежды в свою борьбу. Живи, пока хватает сил, преодолевая неизбежные беды и трудности и строя мало-помалу новую жизнь дружбы, мира и счастья.

Да, это так, и если другим удастся увидеть грядущее, каким видел его я, мой сон можно будет назвать предвидением.

## КОММЕНТАРИИ

### Глава I

Стр. 33 ...в Лиге...--Имеется в виду Социалистическая лига (см. предисловие).

Стр. 34 ...пользуясь способом передвижения, навязанным нам цивилизацией и уже вошедшим в привычку...--Первые линии Лондонской подземной железной дороги были построены в 1860--1863 гг.

...чуть выше безобразного висячего моста.--Хэммерсмитский мост через Темзу.

Стр. 35. Чизикский остров--остров на Темзе в пригородном районе Чизик, расположенном западнее Хэммерсмита.

### Глава II

Стр.39 Пэтни--район (при Моррисе пригород) Лондона на правом, южном берегу Темзы.

Барн Элмс--парк на правом берегу Темзы.

Стр. 40. Сэррейский берег--южный, правый берег Темзы. Центр и большая часть Лондона расположены на левой, северной стороне.

Тей--река в Шотландии; славится лососями, которые водятся только в чистой, прозрачной воде. В загрязненной промышленными отходами Темзе лосося исчезли.

Понте-Веккьо («Старый мост»)--мост через реку Арно, известный архитектурный памятник XIV в.

### Глава III

Стр. 48 Кросби Холл--здание готической архитектуры (1466—1475 гг.), известный исторический памятник. В XIX в.--концертный зал, затем ресторан.

Стр. 49 Хэммерсмит--один из округов Лондона, в XIX в.--предместье.

Стр. 50 ...на месте этого дома когда-то находилась читальня хэммерсмитских социалистов.--В Хэммерсмите с 1878 г. жил Уильям Моррис. В доме Морриса собирались члены хэммерсмитского отделения Социалистической лиги.

Стр. 51 Эптингский лес--в течение нескольких веков был королевским охотничьим заповедником. В настоящее время сохранилась узкая полоса этого леса возле Лондона.

Уолтемстоу.--В городе Уолтемстоу родился У. Моррис (1834).

Стр. 58 Блумсбери--один из центральных кварталов Лондона. В Блумсбери расположен Британский музей.

Боффин, «золотой мусорщик»--персонаж романа Диккенса «Наш общий друг».

### Глава IV

Стр. 61. Флорентийский баптистерий--Баптистерий--помещение для обряда крещения. Баптистерий Сан-Джованни во Флоренции (XI—XIII вв.)--одно из наиболее известных архитектурных сооружений этого рода.

### Глава V

Стр. 65. Кенсингтон, Пэддингтон, Ноттинг-хилл, Примроз-хилл, Кингсленд, Сток-Ньюингтон, Клэптон--районы и пригороды Лондона.

Стр. 72. ...выбросили уродливые памятники дураков и мошенников...--В Вестминстерском аббатстве находятся гробницы и памятники английских королей и государственных деятелей.

Стр. 73. *Собор святого Павла*--наиболее значительное произведение английского классицизма. Построен в 1675—1710 гг.

#### Глава VII

Стр. 83. *Трафальгар-сквер*--одна из центральных площадей Лондона В XIX в архитектурный ансамбль площади с памятником Нельсону--победителю в битве при мысе Трафальгар--в центре считался одним из красивейших в Европе.

Стр. 84. *На углу уродливая церковь; за мной неопишимо безобразное здание с куполом.*--Имеются в виду церковь св. Мартина и здание Национальной галереи

*Одну из них взгромоздили на верхушку высокой колонны*--Подразумевается памятник Нельсону

Стр. 85. ...путаное описание сражения, которое произошло здесь приблизительно в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году--Избиение демонстрации безработных на Трафальгар-сквер 13 ноября 1887 г , «кровавое воскресенье».

#### Глава VIII

Стр. 93. *Лонг Акр*--одна из центральных улиц Лондона.

Стр. 95. *Холборн*--некогда ручей, затем улица, на которой сохранилось много старинных домов, так как она уцелела при пожаре 1666 г. То же название носит лондонский округ, в пределы которого входит эта улица.

*Оксфорд-роуд*--одна из главных магистралей Лондона

*Британский музей*--основан в 1753 г. Главное здание Британского музея (1823—1855)--построено в классицистическом стиле.

#### Глава X

Стр. 116. *Фаланстеры Фурье*--По учению французского социалиста-утописта Шарля Фурье (1772—1837), социалистическое общество будет состоять из отдельных общин--фаланг. Фаланстер--здание, в котором размещена фаланга.

Стр. 118. *Песня Гуда о рубашке*--«*Песня о рубашке*»--стихотворение английского поэта-демократа Томаса Гуда (1799—1845), посвященное тяжелой доле работницы-швеи.

Стр. 119. *Ли*--левый приток Темзы.

Стр. 119. *Исаак Уолтон* (1593—1683)--английский писатель, автор книги «Размышления рыболова» (1653).

*Стрэтфорд*--промышленный пригород Лондона на левом. восточном берегу реки Ли. Название восходит к броду, где Римская дорога пересекала реку Ли.

*Олдфорд*--восточная окраина Лондона на правом берегу Ли. Местность по берегам реки Ли была застроена в XIX в.

Стр. 120. *Шутерс-хилл*--высокий меловой холм на берегу Темзы в г. Пэнгборн.

*Кэннингтаун*--густонаселенный пригород севернее Лондонских доков.

*Сильвертаун*--квартал между доками и Темзой, где живут портовые рабочие.

#### Глава XIII

Стр. 142. *поместите это отдельной главой, взяв за образец книгу старого Хорребоу «Змеи в Исландии».*--В книге датского ученого XVIII в Хорребоу «Естественно-историческое, гражданское и политическое описание Исландии» содержалась особая глава о змеях в Исландии, состоявшая всего из одной строки «Змеи в Исландии не встречаются». Писатель Сэмюэль Джонсон (1709—1784) и его биограф Бозвел ввели крылатое выражение «Змеи в Исландии» в английскую литературу. В дальнейшем книга Хорребоу, за исключением этой курьезной главы, была забыта, поэтому Моррис перенес название главы на книгу в целом.

#### Глава XV

Стр. 154. *Стэбли* Генри Мортон (1841—1904)--путешественник по Африке. Возглавлял ряд экспедиций, содействовавших захвату европейскими империалистическими государствами африканских территорий.

#### Глава XVI

Стр. 163. *Якоб Гримм* (1785—1863)—немецкий филолог. Братья Гримм (Якоб и Вильгельм) впервые собрали и издали немецкие на родные сказки.

#### Глава XVII

Стр. 176. *Гладстон* Уильям Эварт (1809—1898)--лидер либеральной партии. В 1868—1874, 1880—1885, 1886, 1892—1894 гг.--премьер-министр английского правительства

Стр. 190. *ярая реакционная газета «Дейли телеграф»*--«Дейли телеграф» (осн. в 1855 г.)--газета, поддерживавшая партию консерваторов. В 1937 г. объединена с газетой «Морнинг пост».

#### Глава XXII

Стр. 220. *Хемптон-Корт*--дворец на берегу Темзы близ Лондона.

Стр. 223. *Раннимед*--старинный город на Темзе

#### Глава XXIV

Стр. 241. *...мои старые враги, «готические» чугунные мосты, были заменены красивыми мостами из камня и дуба*--ВXIXв. на месте многих старинных каменных и деревянных мостов через Темзу были построены мосты псевдоготического стиля.

*Виндзор*--Виндзорский замок--летняя резиденция английских королей.

*.....их построил для большого учебного заведения один из средневековых королей,--кажется, Эдуард Шестой...*--В действительности, Итонский колледж основан королем Генрихом VI в 1440 г.

Стр. 244. *Бишем, Медменхем, Харли, Хенли, Уоргрейв, Ши-лейк, Рединг, Кэвершем*--города и поселки, расположенные вдоль Темзы

#### Глава XXV

Стр. 254. *Горинг и Стритлей*--города, расположенные на разных берегах, один против другого.

#### Глава XXVII

Стр. 263. *...древней истории этой местности, со времен Альфреда до эпохи Парламентских войн. Многие эпизоды этих войн... разыгрались вокруг Уоллингфорда.*

*Альфред Великий*--король Уэссекса (871—900).

*Парламентские войны*--принятое в английской историографии название событий английской буржуазной революции XVII в. В крепости Уоллингфорд королевские войска оказали упорное сопротивление парламентским войскам. После победы Кромвеля крепость была уничтожена.

Стр. 267. *Я поеду с вами до Оксфорда: мне надо взять книги в Бодлеянской библиотеке.*--Знаменитая Бодлеянская библиотека в Оксфорде, по мнению Морриса, будет существовать и при коммунизме.

Стр. 270. *Теннисон Альфред* (1809—1892)--известный английский поэт. *«Лотофаги»*--поэма Теннисона, в которой развит один из эпизодов «Одиссеи».

Стр. 271. *...каждая пядь земли вдоль Темзы от Хэммерсмита до Криклейда--Криклейд*--городок в верховьях Темзы, последний пункт, куда можно подняться на лодке.

Стр. 273. *Холм Сайнодана*--один из самых высоких холмов на берегах Темзы. На вершине холма--остатки древних военных укреплений.

*Абингдон*--древний город на правом берегу Темзы, легендарная столица королей Уэссекса.

#### Глава XXVIII

Стр. 279. *Я помню этот мост, только мы никогда не называла его «старым» мостом...*--Имеется в виду «Новый мост», древнейший мост на Темзе (XIII в.)

*Римский вал в Кэмберленде*--часть Римского вала, или Вала Адриана (11 в.), проходившего от устья реки Тайн до Карлайла.

#### Глава XXXI

Стр. 293. *«Старый дом»*--дом Морриса в Кельмскотте, небольшом селении в верховьях Темзы, вблизи города Лечлейд.

*М. Гордышевская*

## СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Кагарлицкий. Утопия Уильяма Морриса 5

ВЕСТИ НИОТКУДА, ИЛИ ЭПОХА  
СПОКОЙСТВИЯ  
Перевод Н. Н Соколовой.

- Глава I.* Дискуссия и сон 33  
*Глава II.* Утреннее купание 37  
*Глава III.* Завтрак в Доме для гостей 47  
*Глава IV.* Дорога через рынок 60  
*Глава V.* Дети на дороге 64  
*Глава VI.* За покупками 73  
*Глава VII.* Трафальгар-сквер 83  
*Глава VIII.* Старый друг 93  
*Глава IX.* О любви 98  
*Глава X.* Вопросы и ответы 113  
*Глава XI.* Об управлении 128  
*Глава XII.* Об устройстве жизни 134  
*Глава XIII.* О политике 142  
*Глава XIV.* Как ведутся дела 142  
*Глава XV.* О недостатке побудительных причин для  
труда в коммунистическом обществе 150
- Глава XVI.* Обед в зале рынка Блумсбери 161  
*Глава XVII.* Как произошла перемена 166  
*Глава XVIII.* Начало новой жизни 201  
*Глава XIX.* Обратный путь в Хэммерсмит 207  
*Глава XX.* Опять хэммерсмитский Дом для гостей 214  
*Глава XXI.* Вверх по реке 216  
*Глава XXII.* Хемптон-Корт и ценитель прошлого 220  
*Глава XXIII.* Раннее утро у Раннимеда 232  
*Глава XXIV.* Вверх по Темзе, второй день 239  
*Глава XXV.* Третий день на Темзе 251  
*Глава XXVI.* Непримиимые упрямы 256  
*Глава XXVII.* Верховье 262  
*Глава XXVIII.* Река 275  
*Глава XXIX.* Отдых в верховье Темзы 280  
*Глава XXX.* Конец путешествия 286  
*Глава XXXI.* Старый дом среди молодого народа 293  
*Глава XXXII.* Начало празднества. Конец рассказа 299  
Комментарии. *М. Гордышевская* 307

---

Уильям Моррис  
ВЕСТИ НИОТКУДА

Редактор *Н. Дынник*. Художественный редактор *Л. Калитовская*.  
Технический редактор *М. Позднякова*. Корректор *М. Фридкина*.

---

Сдано в набор 27/IX 1961г. Подписано к печати 9/1 1962 г.  
Бумага 70X108 1/32 = 9,75 печ. л. = 13,36 усл. печ. л. 12,14 уч.-изд. л.  
+ 1 вкл. = 12,7 л. Тираж 50 000 экз. Заказ № 554. Цена 41 коп.  
Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

---

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, Минск, Красная, 23.

OCR В. Кузьмин. 1996 г.